

Борис Корнев

Танец Пихен

«Историческая иллюстрация»
Санкт-Петербург
2015

Корнев Б.Ф. Танец Психеи: Повесть. – СПб.: Историческая иллюстрация, 2015. – 104 с.

ISBN 978-5-89566-153-6

Иногда так бывает: два человека долго идут по жизни навстречу друг другу, внезапно встречаются, и между ними возникает необычная близость. Похожесть судьбы, сходство характеров... Об этом и пишет автор книги, о встрече через века двух великих поэтов.

На лицевой стороне обложки: *Мария Поленова*. Видение. 2015; на задней стороне обложки: Карта Парижа (*Правый берег*: Лувр, площадь Шатле на месте замка Большой Шатле, площадь Отель-де-Виль и мэрия Парижа на месте Гревской площади, площадь Бастилии на месте одноимённой крепости, Новый мост; *Остров Ситэ*: Собор Парижской Богоматери, Башни Консьержери; *Левый берег*: Латинский квартал, улицы Юшетт, Кота-Рыболова, Сен-Жак, Эколь, Сорбонна, учебные корпуса Парижского университета на месте снесённой церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне, Пантеон, Лицей Людовика Великого, Люксембургский сад вместо пустыря Люко).

Художник А.В. Спиридонов
Технический редактор А.В. Слободин
Редактор Е.Г. Шабалова
Фотограф Г.М. Кургин

Издательство «Историческая иллюстрация»
192019, Санкт-Петербург, ул. Глазурная, 2-89
E-mail: info@ist-il.spb.ru
Тел./факс: (812) 412 0737

Подписано в печать 24.08.2015. Формат 60 × 90 ¹/₁₆
Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg
Объем 6,5 п. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 405

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «Контраст»
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 38

© Б.Ф. Корнев: текст, 2015
© А.В. Спиридонов: макет и оформление, 2015
© «Историческая иллюстрация», 2015

Содержание

<i>Вместо предисловия</i>	4
<i>Часть 1-я</i>	15
<i>Часть 2-я</i>	51
<i>Эпилог</i>	76
<i>Приложения</i>	
Стихи Шарля Бодлера	78
Цветы зла. Предисловие	78
Плавание	80
Стихи Франсуа Вийона	86
Баллада – добрый совет	86
Баллада о повешенных	87
Баллада поэтического состязания в Блуа	89
Лэ или малое завещание	90
Баллада о завистливых языках	100
Баллада о парижанках	101
Баллада о толстухе Марго	102
Баллада прощения	103

Вместо предисловия

Долго тянулись годы учёбы в первой открытой в Ленинграде «французской» школе. Менялись классные руководители, уходили одни одноклассники, приходили другие. Кто-то так и не смог приноровиться к иностранному языку, кто-то получал квартиру и менял школу на ту, что поближе. Большинство учеников жили рядом, в коммунальных квартирах, в домах, появившихся ещё в тридцатые годы прошлого века вблизи огромного завода, или в двухэтажках с деревянной лестницей, построенных пленными немцами сразу после войны. В первый класс в какую-то «французскую» школу родители не хотели отпускать своих детей. Боялись, что их потом отправят на чужбину, в жаркую Африку, в Алжир или вообще – во Францию, прямо в НАТО.

К седьмому классу мы стали гордиться своей школой. Тогда уже многие могли говорить по-французски, легко вставляя сложные обороты с кондисьонель или сюбжонктивом. Но делать это по-настоящему, с «прононсом», почему-то стеснялись. Зато уж, если осмеливались, получалось так же красиво, как у нового преподавателя французской истории и литературы. Все с наслаждением слушали его мужскую французскую речь, так непривычную в школе. От этого тембра и произношения млела

даже математичка, что уж тут говорить про девчонок. Они все разом влюбились в молодого учителя.

Новый преподаватель много рассказывал о Париже, где ему довелось жить с родителями. Учился в Сорбонне. Потом, когда семья вернулась в Ленинград, работал в «Интуристе» и вот теперь – школа. Он часто раздавал нам красочно оформленные маленькие французские карманные книжки “Le livre de poch”. Это были разные авторы, известные нам и не очень. Мне особенно запомнилась с повешенными на обложке и ещё одна, с непонятной женской головой в профиль – «Поэзия Вийона» и «Цветы зла» Бодлера.

А однажды учитель принёс огромную, во всю стену, карту Парижа. Там, как сегодня в Гугле, можно было видеть улицы, памятники архитектуры и даже отдельные дома. Каждому ученику отводился конкретный кусок этой карты, и он должен был всё зазубрить на память. Кто, когда, что построил, что там сейчас, как туда пройти?.. Например, как добраться от площади Бастилии до Лувра, а затем к Триумфальной арке? Но только не по улице Риволи и Елисейским полям! Так всякий сможет. Или ещё сложнее – от Вандомской колонны до вокзала Аустерлиц? Что за колонна воздвигнута на площади Согласия и в честь чего? А рядом мост, хотя и с таким же названием, но совсем по другому поводу... Мне достался Латинский квартал, вернее, V и VI округа Парижа. Всё, что на левом берегу Сены, напротив острова Ситэ, от Нового моста до Малого, от набережной Гран Огюстен, вдоль древнейшей улицы Сен-Жак, пересекая бульвар Сен-Жермен и улицу Эколь, а потом Сорбонна, лицей Людовика XIV Великого... И в конце – Люксембургский сад. Вот, даже здесь не удержался, прямо вижу перед собой эту карту и начинаю перечислять названия улиц, номера домов, церкви, учебные заведения...

«Знаю, – говорил учитель, читая нам классиков, – чтобы самим не мучиться, станете искать оригинал и перевод. Не утруждайтесь. Нет переводов Вийона! И во-

обще, пора приучать себя думать и чувствовать по-французски. Лучше слушайте...» И в стенах класса, привыкшего к женским голосам преподавателей, мягким баритоном зазвучала мелодия поэзии Вийона. Учитель, когда читал, преображался. Он всем своим видом говорил нам: «То, что написано в учебниках про поэзию: „Бичует лицемерие, срывает покровы, яркое полотно“ и тому подобное – просто набор слов! А, вот сама поэзия... Это нужно уметь слышать!»

Уж, как нас измучили, как надоели ежедневные уроки по французской лексике и грамматике! Рутинка. Семь лет одно и то же! Эти повелительные, условные и сослагательные наклонения, целых девятнадцать времён. Только прошедших – шесть! А на уроках французской литературы, на его уроках, мы получали удовольствие от прикосновения к прекрасному. Баллада Вийона «О состязаниях в Блуа», монолог Сида у Корнеля, Апполинер «Под мостом Мирабо тихо Сена течёт...» Потом сами пытались переводить, сравнивали, у кого лучше. Выискивали эротические сцены в «Блеске и нищете куртизанок» Бальзака, в «Милом друге» Мопассана, в «Мадам Бовари» Флобера, балдели от шести запрещённых судом Франции стихов Шарля Бодлера. Теперь произносить что-нибудь по-французски без «прононса» было уже немислимо и даже стыдно. Записки девчонкам и то по-французски писали, да ещё с выкрутасами, как у Дюма.

Когда слушали в оригинале баллады Вийона «О Дамах былых времён» и «О состязании в Блуа», их автор ярко, как живой, представал перед нами в образе нового учителя: в таких же синих потёртых джинсах и свитере-балахоне... Сирота, в двенадцать лет студент, в семнадцать – бакалавр искусств, потом разбойник, забулдыга, вечный школяр, скользящий по жизни, удачно минуя вынесенные ему приговоры... В ожидании очередной казни, тридцатилетний Франсуа с лёгкостью балагура завещает приятелям всё, что у него есть: пустые карманы, любимые кабаки, грязные улицы и ночлежки...

Учитель был прав, когда советовал нам не искать переводов Франсуа Вийона. Кто по настоящему этим занимался, тогда, в начале шестидесятых, почти все или умерли, или уехали за границу, или сидели в тюрьме, в любом случае – их литературные труды не издавались, а уже опубликованные изымались. Николай Гумилёв – расстрелян в восемнадцатом. Одиночные перепечатки его переводов издавались в тринадцатом году прошлого века и даже в советское время, в тридцать восьмом, правда, за подписью Осипа Мандельштама, вскоре после этого арестованного. В шестнадцатом мелькнули два очень вольных перевода Владимира Жаботинского. Тогда же обратился к Вийону Илья Эренбург. Позднее он вместе с Феликсом Мендельсоном, снова вернулся к его балладам, но это произошло только через полвека. Антология «Французские стихи в советских переводах», составленная Ефимом Эткингом в 1964-м, была остановлена ещё в вёрстке. А вскоре и его самого выслали из страны. Валерий Перелешин, живя далеко в Бразилии, не смог не прикоснуться к стихам Вийона и в семьдесят третьем расщедрился на две баллады. В девяностых одну перевёл Сергей Петров, три – Алексей Парин. Юрий Кожевников публикует свои переводы многих творений Вийона. Потом будет ещё Юрий Корнеев с его миниатюрной книжечкой, вобравшей в себя всего Вийона вместе с балладами на воровском жаргоне.

А нам так и не пришлось по-настоящему попробовать себя в художественном переводе. Несмотря на гуманитарный уклон, в последних классах пришлось больше работать над техническими текстами, и филологические устремления начинали угасать. Но любовь к языку и к французской литературе не умерла. Хороший был учитель! Он помог нам вырваться из рутины грамматики. А Вийон с его помощью застрял в памяти и всё время напоминал о себе незабываемой мелодией поэзии, мудрыми и очень точными словами о жизни и смерти. Напоминал он и о любимом учителе французской литературы.

Со времён школы прошло почти полвека. Многое изменилось в мире. Изменились и мы сами. Часто вспоминая последние десятилетия, и рефреном во мне звучат слова Вийона о «прошлогоднем снеге». Они очень точно обозначают противоречивость сегодняшнего отношения к трагическим событиям в России девяностых годов прошлого века. В чём-то они поразительно созвучны со временем и Карла VI, и Людовика XI, и Франсуа Вийона, свидетеля, я бы даже сказал, летописца кусочка той эпохи.

«Родился в 1431-м, в год сожжения англичанами Жанны д'Арк, умер – после 63-го, но не позднее 91-го...» Жуткие и непривычные строчки! Захотелось изучить, разобраться, найти хоть что-нибудь для того, чтобы зацепившись за случайный факт, продлить биографию поэта. Сначала, замыслил нечно вроде фэнтази, решил было отправить его в Америку. Но до неё ещё было далеко, лет сорок... Потом, в Англию. Но она и так надоела, сто лет воевали! Сколько можно? Да и там своя война – между Белой и Алой Розой. В Россию? Шестидесятые годы XV века? Иван III, укрепление самодержавия и объединение страны вокруг Москвы. А что? Похоже! Во Франции тогда происходило то же самое...

Вдруг мелькнуло в мыслях: а что хочет Людовик XI... Он ведь наверняка что-то задумал... Чтобы соединить разные ветви династии король хочет выдать свою дочь Анну за Пьера де Боже, младшего сына своего дяди Карла I Бурбонского. Но тот уже повенчан с Марией Орлеанской, дочерью другого дяди – Карла I Орлеанского. Надо бы расторгнуть помолвку. Но как? Почему-то сразу вспомнились жуткие отношения Людовика с его первой женой Маргаритой Шотландской и перед глазами встала фигура организатора их помолвки – известного поэта того времени Алена Шартье. Тощий с прямыми длинными волосами. Так похож на Вийона!

А что же Франсуа Вийон? И Карл Орлеанский его знает, ценит как поэта, и Жан, сын Карла Бурбонского – тоже. Одна из любовниц Людовика XI Катрин де Воссель

и та знакома с Франсуа Монкорбье по прозвищу Вийон и даже в своё время наняла людей прибить этого бедного ухажёра и надоедливого поэта-школяра. Уж наверняка все они при случае что-нибудь да молвили королю про поэта-бедолагу. И ещё. Не утруждающий себя изучением классиков, для их цитирования Вийон прекрасно пользовался творчеством того самого Шартье и, не мудрствуя лукаво, частенько заимствовал целые куски из его стихов.

Как-то всё сходится! И сразу повис вопрос. Так куда же направился Франсуа Вийон после изгнания из Парижа 8 января 1463 года? В Пуатье, где сто лет спустя Франсуа Рабле вроде бы находит его следы? В Бурбонне, где когда-то жили родственники Вийона? В общем-то, это довольно близко от Пуатье!

Три дня на то чтобы покинуть Париж и убраться куда подальше. Это единственное, чего 5 января удалось добиться мэтру Франсуа де Монкорбье, приговорённому накануне к казни за то, что он косвенно оказался причастен к одному скверному делу. И вот 8 января, в самом начале того года, о котором известный французский нотариус Жан де Руа сообщает нам, что он «не был отмечен ни единым примечательным событием», Вийон навсегда исчез из Истории...

* * *

Повесть «Танец Психеи» о двух французских поэтах Франсуа Вийоне и Шарле Бодлере, основоположниках или, вернее, предвестниках Возрождения и Символизма во французской литературе. Но эта книга не об их творчестве. Вы не найдёте здесь мудрых слов о «строгом ритме стиха», «механизме просодии и строении станса», «особенной архитектонике»... Этому посвящено великое множество прекрасных работ. О поэзии Бодлера достаточно написано его соотечественниками Сартром и Готье, а о Вийоне – нашими Мандельштамом и Кожевниковым. Здесь читатель повстречается лишь с некоторыми мыслями и переживаниями двух поэтов разных эпох, ока-

завшихся в душевном кризисе. Образ жизни, внутренние противоречия, психологические комплексы и мучительные усилия по их преодолению, – это интересно само по себе и важно ещё потому, что, несомненно, повлияло на творчество двух великих художников.

События, факты, конкретные мысли и переживания, персонажи и их отдельные фразы взяты из произведений поэтов, из писем, воспоминаний современников и... судебных протоколов, сохранившихся с XV и XIX веков. Повествование идёт от первого лица. Это лицо – Шарль Бодлер.

Почему Бодлер? Прямо скажу: «Не знаю!» Как-то всё сплелось и выстроилось в логическую цепь. У этого поэта есть одна несомненная привилегия – он жил позднее Вийона, знал и любил его творчество. Но главное другое. Почему именно они?

Дело в том, что и Бодлер, и Вийон, как личности, очень схожи. И тот и другой сироты, учились в Париже, пропитаны духом студенческой свободы, во все времена наполнявшей Латинский квартал. У них конечно разная, но одинаково тяжёлая судьба. И танцуя с каждым из них, Психея* то приближается с улыбкой на устах, то с мрачным видом отодвигается, освобождая место для драмы, трагедии и даже смерти.

Оба относятся к такой категории людей, которым лишь бы плыть да плыть, а цель... Цель, конечно, есть! Но её совсем не обязательно достигать. Достаточно того, что она есть. Для таких – каждый день открытие и самый счастливый в жизни! Как точно сказал Мандельштам о судьбе Вийона: «...она как бы ждёт быть оплодотворённой случаем, всё равно каким – злым или добрым...»

Интересно, что ни у того, ни у другого вы не найдёте описаний природы, луны, заката, дуновенья ветерка... Наверное, это такое проявление страха перед непред-

* В древнегреческой мифологии – олицетворение души; представлялась в образе бабочки или девушки с крыльями бабочки.

сказуемой и неукрощённой жизнью. В её неоформленности и случайности они чувствовали схожесть с собой, со своим отношением ко всему окружающему, и потому не позволяли себе, даже боялись усугубить хаос и неопределённость, уже давно затянувших их в свой омут. Отсюда эпатаж Бодлера и любовь ко всему вычурному, им же выдуманному. Отсюда маски, в которые то и дело рядился Вийон! Маски сутенёра, бандита, влюблённого школяра... Он писал от первого лица. И многие возмущались, полагая, что автор действительно таков, как тот, от лица которого он пишет. Но это был лишь приём, способ лучше раскрыть то, что видит и чувствует твой персонаж, и ещё – возможность скрыть себя. Тем более, что сами они себя так и не poznали. Пытались, но не смогли.

Иногда так бывает: два человека, пребывая в духовном кризисе, долго идут по жизни навстречу друг другу, сами того не зная. Встречаются. Похожесть судьбы, сходство характеров, уничтожающее давление жизненных противоречий... Постепенно возникает чудесное ощущение доверия. Душа пробуждается, освобождаясь от уз привязанностей... Психика постепенно, с надрывом, начинает гасить угнетённое состояние, «осознавая» его односторонность. На поверхность выходит совсем другое ощущение терзавших противоположностей. Оно уже отличается от деления на чёрное и белое... И наступает исцеление. Хочется, чтобы наступило.

* * *

Говоря об этих поэтах, поражаешься, как схожи с нашим временем эпохи, в которых они жили! В сознании события как будто повторяются, то и дело перелетая из Средних веков во Вторую республику, а потом и в современную Европу. Везде перевороты, революции и долгое, порою, напрасное ожидание перемен к лучшему.

С конца XIV века до шестидесятих годов XV Франция – это, если так можно выразиться, время «пяти Карлов и одного Людовика», представителей младший вет-

вей династии Капетингов, из семейства Валуа (Ангулемские, Орлеанские и Бургундские) и из семейства Бурбонов. Ещё при малолетнем короле **Карле VI** – из Ангулемской, старшей линии семейства Валуа, началась эпоха, безраздельного разгула личных амбиций принцев крови. Дошло до того, что в 1420-м году племянник короля Филипп III Бургундский Добрый, желая расширить свои владения и стать наместником во всей побеждённой Франции, вместе с женой Карла VI Безумного вступил в сговор с англичанами – с противником Франции в Столетней войне. Его сын **Карл Смелый**, последний из линии Бургундских, пошёл ещё дальше. Мечтая уже об императорской короне, он стремился породниться с династией Габсбургов – с королем Германии и императором Священной Римской империи Фридрихом IV.

Закономерным итогом 42-летнего царствования Карла VI – сначала юного, потом вялого и не интересующегося государственными делами, затем, действительно, «Безумного» – стал распад Франции, как единого государства.

Но вот появилась Жанна д'Арк. В 1429 году, освободив Орлеан и отодвигая войска англичан, она привела в Реймс нового короля Франции **Карла VII**, единственного сына Карла VI. В этом небольшом городке, чуть восточнее Парижа, по традиции короновались все французские короли. Только в этот раз всё было совершено в нарушение договора с Англией, подписанного в 1420-м Изабеллой Баварской, матерью Карла VII. Тогда Париж был у англичан, и далеко не всеми в Европе восшествие на трон Франции сына Карла VI признавалось законным.

Четвёртый Карл – племянник первого, из младшей Орлеанской линии семейства Валуа герцог **Карл I Орлеанский**. Этот – рыцарь! Но ещё в 1415-м году в битве при Азенкуре попал в плен к англичанам и пробыл там двадцать пять лет. Потом было что-то хитрое устроено. Его выкупили Бургундские. Видимо, почуяли, кто кого побеждает в войне.

Другое семейство Капетингов – Бурбоны. У них в то время герцогом тоже был Карл, **Карл I Бурбонский**. Его отец так же, как и Карл Орлеанский, в 1415 году попал в плен к англичанам и там умер в 1434-м. Старшего сына Карла I Бурбонского звали Жан. В отличие от своего деда и дяди Орлеанского Карла, этот рыцарь был удачливее. Оба, и Карл Орлеанский, и старший сын Карла Бурбонского обожали стихи и знали Вийона. У Орлеанского Вийон выиграл на поэтическом турнире, а Жан Бурбонский, когда стал герцогом, денег дал. Немного, правда, но важен факт.

В 1461-м Карл VII умирает, и после многих лет ожидания наконец-то королём Франции становится его сын **Людвик XI**. Только что закончилась Столетняя война, повсюду смятение и разруха, уличные драки и столкновения с властями... Новому королю предстояло окончательно изгнать англичан, обуздать принцев крови, ставших фактически независимыми государями, восстановить централизованную королевскую власть. Началась эпоха тонкой и хитрой политики, интриг и семейных союзов.

А что же Бодлер с его XIX веком? После революции 1830 года прошло восемнадцать лет. Правление Луи-Филиппа I, последнего монарха Франции, носившего титул короля, привело к небывалому росту коррупции и к возвращению привилегий дворянства. Всюду друзья и родственники короля, всюду финансовые аферы и взятки. Во все времена итог такой власти один. Массы людей выходят на улицы, строят баррикады, захватывают оружие... Потом следуют попытки власти разогнать восставших. Гибель нескольких десятков человек, отставка правительства, отречение короля...

Так и случилось в феврале 1848-го.

Но что-то победители не поделили или не так сделали. И снова беспорядки. Только теперь новые правители, почувствовав прелести власти, привели войска. Результат – несколько тысяч погибших!

Это июнь того же года.

Вот здесь на баррикадах можно было увидеть Бодлера-борца за либеральные ценности и свободу личности! Сколько было надежд!

А через несколько месяцев прошли всенародные выборы, и неожиданно победил племянник Наполеона, сорокалетний Луи Бонапарт. Опять радость, опять надежды! Мол, теперь-то... Новый президент, так же как и его знаменитый дядя, конечно же, будет проявлять внимание к свободам и нуждам всех французов!

Как это напоминает сегодняшний день! Увы! Все истории чем-то похожи друг на друга. Но они никогда не повторяются! Это всего лишь схожесть эпох, сложное время перемен.

Политические события, свидетелями которых стали наши главные герои, несомненно, влияли на их взгляды и в чём-то сближали эти две незаурядные личности, воспитанные духом свободы и студенческого бунтарства Латинского квартала.

Часть 1

*В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей...*

Бодлер Ш. Плавание (перевод М. Цветаевой)

1.

Уже несколько месяцев я снимаю комнату на этой древней улице, короткой и самой узкой в Латинском квартале. Моё жилище на втором этаже, и к нему ведёт крутая лестница, вечно скрипящая под ногами. Мебель старая и нескладная, грязный пол, узкие окна во двор, и поэтому здесь всегда полумрак. Я сижу у зеркала. Оно покрыто пылью и кажется матовым. Контуры лица видятся в нём нечёткими, цветовые переходы размыты, как на торопливом эскизе акварелью, вместо живых искрящихся глаз – светло-коричневые пятна с заметной синевой под веками, волосы выкрашены в зелёный цвет, куртка тоже зелёная, светло-бежевые панталоны, на груди огромный шёлковый бант. Я люблю своё отражение и, как на исповеди, доверяю ему самое сокровенное...

Сейчас встану и пойду на прогулку в Люксембургский сад. Обожаю это место. Куда ни глянь – скульптуры. Каменные изваяния души. Наброшу широкий чёрный

камзол, возьму трость и буду шагать, гордо вскинув голову и осторожно переступая через лужи. Меня, конечно, узнают, но я привычно постараюсь выказать пренебрежение к докучливым поклонникам. Потом буду сидеть в кафе на улице Юшетт, потом своим монотонно-певучим колдовским голосом читать со сцены стихи. Да, мой голос необычен. Так все говорят. Я тоже непрост, а стихи завораживают, возбуждают и заставляют краснеть даже мужчин. Никакой морали, никакой нравственности! Только прекрасное и безобразное – две извечные противоположности. Только одно в другом, и никак иначе! Пройдёт час или два. Возвращаясь, я как всегда, остановлюсь у дома, где когда-то жил Бонапарт*, постою, поразмышляю и вдруг затеряюсь, незаметно свернув на ту, самую узкую улочку Парижа. Вновь усажусь перед влекущим меня зеркалом и стану смотреть, не отводя взора от своего исчезающего, почти невидимого лица...

Явно недолюбливающий меня Проспер Мериме сказал однажды, что я глуп и честен, а моя поэзия – сплошной пессимизм. Ему ли, депутату, не знать, что мои стихи всего лишь порождение нашей эпохи. После революции прошлого столетия и наполеоновских войн у нас не осталось ничего, лишь жалкое подобие порядка. Нищета одних, испорченность и развращённость других достигают своего апогея. Почему так? В феврале 48-го не вышло, как хотели. Вот почему! А случившийся за этим переворот погасил последние надежды. Теперь над Францией удушливый мрак тоски и отчаяния. Личности исчезают, а вместо них множится популяция чиновников, расцветает чертополох пошлой и бездарной среды богатеющего мещанства. Конечно, говоря обо мне, Проспер не может не верить в самое лучшее будущее. Иначе его попросту выгнали бы из Сената...

Ты спросишь: «Откуда такие мысли?» Отвечу. Это не мысли, а всего лишь реакция на боязнь самого страшно-

* Дом 10 по улице Юшетт. Наполеон Бонапарт жил там один год – с 1792-го по 1793 год.

го – постоянной, ежесекундной утраты части самого себя. Только почувствую этот животный страх, сразу в моём сознании начинается дьявольская круговерть.

Но ко всему привыкаешь, подлаживаешься, учишься даже в чуждом тебе подмечать прекрасное. Блуждая в дымчатый весенний вечер по успокоившемуся городу, всем телом чувствую, что, кроме глупой суеты нашей жизни, есть в этой части Парижа ещё и иная жизнь: целое море духовности, движения, любви, пленительной старины. Её большие серые глаза задумчиво и безучастно глядят на выдумки нового поколения, как глядели триста лет тому назад на проделки Панурга*, а ещё раньше – вечного студента Вийона и его друзей.

Мне иногда кажется, что это страшное по сути своей исчезновение личности, в чём-то даже прекрасно. Этакое угасающее мерцание свечи, размывающееся в зеркале изображение, тлеющая жизнь... А коли уж мне суждено пребывать в такой беде, то я должен, я просто обязан постоянно возвращать себя себе самому и во что бы то ни стало в конце концов увидеть обнадёживающий результат. Между тем, чтобы это сделать, нужно ни много ни мало – всего лишь раздвоиться!

Я стараюсь, порою даже способен видеть собственные руки, будто чужие, линии жизни на ладонях, могу чувствовать себя, свою душу... Однако эта душа, однажды взглянув сама в себя, тотчас исчезает. А я всё равно всякий раз силюсь довести до предела этот несостоявшийся акт самораздвоения.

Приходится всё время распалать своё сознание, и если поначалу я выступал по отношению к самому себе лишь в роли свидетеля, то в последнее время всё чаще становлюсь собственным палачом. А как быть? Раз мне не удаётся увидеть самого себя, то в надежде добраться до потаённых глубин, я, по крайней мере, попытаюсь копнуть свою душу. Палач и жертва всё больше сливаются во мне

* Один из героев сатирического романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

в одно нераздельное целое. «Я и пощечина, и щека, рана и удар булатом, рука, раздробленная катом, и – я же – катова рука!..»*

Буду искренним. Втайне мне хочется и иного. Опомнившись, время от времени я прерываю самомучительство, принимаюсь разыгрывать обезоруживающую непосредственность, прикидываюсь, будто отдаюсь любым импульсивным побуждениям. Но всё это лишь затем, чтобы в один прекрасный миг предстать перед собственным взором как некий неразгаданный субъект. Я как бы плыву, безуспешно гоняясь за самим собой. «Но истые пловцы – те, что плывут без цели: плывущие – чтоб плыть! Глотатели широт, что каждую зарю справляют новоселье. И даже в смертный час ещё твердят: „Вперёд!“»** Вот отчего подчас тоской набухает сердце, чувствуя, что в этом плавании истинного друга оно не найдёт. И тогда всё вокруг кажется скучным: и узкие, давно не мытые окна моей комнаты, и сама комната с её огромным кожаным креслом непонятного цвета, и вечно дымящийся камин, шум в дымоходе, и звуки, доносящиеся с улицы, – крики стекольщика или мальчишек-газетчиков.

В такие минуты всегда вспоминаю счастливые детские годы. Прогулки с отцом по Люксембургскому саду, его рассказы о художниках, о скульптурах, высившихся вдоль многочисленных дорожек. Я бегу что есть духу на глазах у гуляющих парижан, поднимая высоко над головой руку с привязанным к ней «змеем». Запыхавшись, останавливаюсь и смотрю вверх... Но в небе ничего нет, кроме череды рябых облаков и радуги от капелек пота, застрявших в моих ресницах...

Как великий и трагический Вийон, я тоже пытаюсь понять себя или хотя бы увидеть со стороны. И вся моя жизнь – история этих пока что неудавшихся попыток. Именно из-за этого ощущаю свою бесполезность. Хотя

* Бодлер Ш. Цветы зла. СПб., 1999. С. 220.

** Из стихотворения Ш. Бодлера «Плавание» (перевод М. Цветаевой).

идея полезности теперь, в наше время, утрачивает всякий смысл. Тем более, для меня, на свой страх и риск созидающего законы поведения, которым сам намереваюсь следовать.

2.

Моё детство было ослепительно счастливым. Я долгожданный и единственный сын у родителей с огромной разницей в возрасте. Меня баловали. Когда мне исполнилось пять лет, умер отец. Но не раннее сиротство, а то, что последовало за ним, стало для меня ошеломляющим ударом. Всего через год моя мать, к которой с раннего детства я испытывал чувства, выходящие за рамки сыновней любви, вышла замуж. Я это называл предательством, добавляя, что она, имея такого сына, как я, не имела права выходить замуж повторно. Ощущавший себя и сыном, и мужем одновременно, я назначал тайные свидания, устраивал сцены ревности, писал нежные письма. А ещё через пять лет меня вообще отлучили от родительского дома и отдали в пансион.

С того момента, когда мать, бывшая для меня божеством, отвернулась от меня, я терзаюсь чувством заброшенности в этом чуждом мире. Здесь всё обманчиво: всё, к чему тянется рука, ускользает. Подлинная мука в том, что я не верю ни одному своему любовному порыву, ни одному искреннему чувству. А в результате живу под собственным присмотром, недоверчиво вглядываюсь в каждое своё переживание, лишая его естественности. Это настоящий театр, постоянное внутреннее раздвоение на зрителя и актёра.

Недавно я наконец-то понял, что моё увлечение вычурной одеждой, скрывающей естественные формы тела, пищей, обильно сдобренной специями, женскими лицами, наштукатуренными румянами и свинцовыми белилами, – всё это различные проявления моего страха перед живой, непредсказуемой, неукротённой жизнью. В её неоформленности и случайности я чувствую нечто род-

ственное хаосу и потому всегда пытаюсь набросить на неё искусственное, мною сотканное покрывало. Отсюда и эпатаж! Это бунт против всего, что меня окружает, против всей вселенной! Это такой способ скрыть себя, повести взгляды других людей по ложному пути, не дав им увидеть меня настоящего. Чем ярче моя одежда, чем крикливее поведение, чем невероятней слухи, которые я сам о себе распускал, тем более надёжно я ограждён. Я рассказывал о своём гомосексуализме, о том, что я тайный полицейский агент, и когда добивался общественного порицания, хохотал над теми, кто попался на мою провокацию. Вийон тоже частенько вместо лица выставлял личину, намеренно создавая в своих стихах иронический или даже жуткий образ их автора. Беспутный повеса, сутенёр, бандит, палач! Кто там ещё? Вот и мне, не скрою, нравится попирать тупые правила хорошего тона нехорошего общества с его застывшими эстетическими канонами.

Изгнанный из мира любви, я начал своё последовательное уничтожение. В пятнадцать лет нарочно заразился сифилисом от известной на весь Париж раскошей проститутки Сары. Эта болезнь придавала мне неповторимый блеск постепенного увядания и всегда могла скрыть истинную причину моего отвращения к самому процессу физического слияния. Не могу сказать, что женщины не влекут меня, но естественная животность этого влечения всегда отталкивает. Ненавижу этот инстинкт. Он отнимает у меня постепенно ускользающую власть над самим собою. Предпочитаю быть соглядатаем. Испытывая ужас перед всем природным и естественным, всегда перевожу процесс обладания в символическую сферу. Я главный символист! Ты, что, не знаешь? Так в Париже считает всякий, кто хоть чуточку знаком с моими стихами.

Закутанный по самую шею, сажусь подле занимающейся любовью пары и, будто в «Саду земных наслаждений», пожираю глазами всё, что вижу. Чьи-то ладони медленно скользят по обнажённым бёдрам, поднимаются всё

выше и выше, вызывая во мне приятную дрожь. Мой взгляд горит вожеланием, я вбираю в себя женское тело, мой нос втягивает его запахи. Вдыхая и разглядывая женщину, я сливаюсь с ней, и уже не могу различить, чьё это тело изнывает от сладострастия, чьи это руки, чьи ноги переплелись на ложе любви... – мои или того мужчины. Так ни разу и не прикоснувшись к ней, я вдруг начинаю чувствовать своими губами ресницы её зазывных глаз, бархатную кожу колышущейся груди, прерывистое влажное дыхание. Оно щекочет и распаляет фантазию. Наконец настанет тот чудесный миг, когда всё моё естество, все мысли, все видения – исчезают куда-то и превращаются в один твёрдый сплав – упругий сгусток нервов и плоти. Её ладони охватывают его, сжимают, отпускают, снова сжимают... Лёгкие прикосновения кончиков пальцев, будто перебирание узелков на чётках, много раз пробегают снизу вверх по всему его отзывчивому телу...

Предчувствие приближающегося блаженства – завораживает всякого. Но я... Я другой! Чем теснее я сближаюсь с женщиной, тем сильнее моё желание ускользнуть, оставив в её объятиях некий мираж, сделать так, чтобы её глаза, глядя на меня, видели кого-то другого. Если смотрят, постигают и разгадывают – тогда это ужас!

Обнаженная женщина, её тело извивается в экстазе, а взгляд бесстрастен и пуст... Несколько лет назад я мысленно увидел этот образ и с тех пор уже не могу с ним расстаться. Он меня вдохновляет и возбуждает, преследует и не отпускает ни днём, ни ночью. Я судорожно искал его в реальном мире. Вот, кажется, нашёл! Но нет! Глаза... Глаза другие, смотрят куда-то внутрь тебя, всё время что-то ищут...

Что это? Образ матери, которую я порочил. Или просто жажда контрастов? Возможно, мне необходим именно бестрепетный взгляд? Он помогает остановить головокружение или важно то, что глаза этой женщины смотрят, но не видят? Они как бы удовлетворяют моё двойственное желание быть постоянно на виду и в то же время

скрытым от чужих взоров? Я мучаюсь, пытаюсь найти ответ, но не нахожу. Наверное, мне нужен партнёр, друг, пусть даже это женщина. Хотя мужчина будет лучше, удобнее. Главное – нужен тот, кому я безмерно доверяю.

Но верить, как себе?! Это, должно быть, безумие...

Однажды весной около Оперы я случайно столкнулся с Оноре и осмелился заговорить первым. Он обрадовался, узнав меня, а затем такой огромный, грузный, мягкий, почти насильно привёл туда, где в центре зала на постаменте лежала женщина, о которой я мечтал. Она была из гипса. Сотворённая Клезингером «Женщина, укушенная змеей» корчилась от боли на ложе из цветов и привлекала тысячи глаз. Скульптора обвиняли в явном бесстыдстве и неприкрытом эротизме. «Где оригинал, где оригинал?» – то и дело допытывался я у Бальзака.

Оригиналом оказалась Аполлония Сабатье, хозяйка литературно-художественного салона вблизи Монмартра. Она согласилась, чтобы с её тела сделали слепок, совершив тем самым довольно дерзкий по нашим временам поступок.

Когда-то этой юной и скромной девушке все в округе пророчили карьеру оперной певицы. Никто не мог и предположить, что это хрупкое и прозрачное существо бросит всё, станет любовницей мецената, чтобы ещё через некоторое время превратиться в одну из самых знаменитых и самых «уважаемых» куртизанок Франции. Стройная, с правильными тонкими чертами лица и большими светло-кариими глазами, она казалась мечтательной, озорной и беззаботной одновременно. Но не внешняя красота, а что-то необъяснимое притягивало к ней. То ли движение руки, лёгкое, чуть заметное, словно она отмахивается от чьей-то излишней назойливости, то ли изредка звучащие низкие нотки в голосе, такие, как у курильщиков, неожиданные, с приятной бархатной хрипотцой. Мне нравился её взгляд, искрящийся из-под опущенных ресниц, который одновременно был и игривым, и ласковым, и нескромным.

Теофиль Готье говорил, что Аполлония превосходит всех остальных женщин тем, что, несмотря на красоту, не требует, чтобы за ней ухаживали. Она принадлежит к той редкой породе женщин, с которыми мужчины чувствуют себя интеллектуально и духовно свободными. Между тем, вращаясь в кругу одарённых людей, Аполлония и сама становилась ярче.

3.

И вот в жизни мадам Сабатье появился я. Первоначальная обоюдная симпатия быстро переросла в любовь, в странную, надо сказать, любовь: я – мрачный, закрытый ото всех, и весёлая, жизнерадостная красавица. Мы долго скрывали свои отношения. Я писал ей письма, причём, всегда не своим почерком, посвящал стихи, иногда приходил в салон на улицу Фрошо. Несмотря на всю силу своей привлекательности, Аполлония всё же была женщиной, женщиной из плоти и крови, она страдала, ненавидела и одновременно желала меня. А я из-за накрепко засевших во мне комплексов по-прежнему оставался для неё недостижимым...

Когда возвращался домой, шквал эмоций обрушивался на меня, захватывал и долго не отпускал, раскручивая неуёмное воображение. Представь, моё жилище вдруг оживало и преображалось. Пыльный, неподвижный воздух светился теперь едва уловимыми тонами и источал заворачивающие запахи. Моя душа утопала и млела в неге, вдыхая аромат желания. А там, за пологом кровати, лежала она, этот кумир, эта царица грёз...

Но почему она здесь? Кто перенёс её сюда? Не всё ли равно! Ведь она здесь, я узнал её! Да, это её глаза! Эти пронизательные глаза я узнал по их приводящему в содроганье лукавству! Они влекут, покоряют, они пожирают взгляды безумца, который смотрит в них. То, что обыкновенно мы называем жизнью, даже в минуты наибольшего напряжения не имеет и тени сходства с этим счастьем, которое познал я тогда и которое вкушал минуту за минутой, секунду за секундой!

Настал день, когда я не смог больше терпеть и признался Аполлонии в своих чувствах. Она ответила взаимностью. Через неделю сумасшедшей любви вот что я получил в нежно-розовом конверте. Нет, ты послушай, послушай. Это важно! Это приговор!

Моё зеркало безмолвствовало.

«Я счастливейшая из женщин, и никогда ещё так ясно не чувствовала, что люблю тебя, никогда ты не казался мне таким красивым, таким восхитительным, скажу проще, божественным»*. Это понятно. Читаю дальше: «Можешь гордиться, если тебе это льстит, только не вздумай смотреться в зеркало». Вот это новость! Откуда ей известно, что дома я почти всё время провожу у своего зеркала? «Ведь как ты ни старайся, всё равно не будет у тебя того выражения лица, какое мелькнуло тогда, – а я это видела, и теперь, что бы ни случилось, всегда буду видеть тебя таким, потому что это тот самый человек, которого я люблю; можешь поджимать губы и хмурить брови, сколько твоей душе угодно, я и смотреть не стану, просто закрою глаза и увижу то, что видела в четверг».

Всё! Это главное! «Можешь поджимать губы и хмурить брови, сколько твоей душе угодно...» Она увидела меня сдавшегося, раскрытого, естественного, с искренними чувствами в глазах. Это смерть для меня!

В тот же миг будто раздался удар, страшный глухой удар в дверь... И моя райская комната – всё очарование сказки – исчезло сразу, внезапно, грубо... Жуткий шум разрушения заполнил моё жилище. Я понял, почувствовал всем своим существом, что только побег спасёт меня от убийственного откровения. Ещё несколько дней назад она была богиней, а это так удобно, так прекрасно, так нерушимо. Теперь она женщина! А если, к несчастью для меня, я обрету право ревновать её? Одна мысль об этом приводила меня в ужас. Я почувствовал, что обо-

* Из письма А. Сабатье Ш. Бодлеру. Здесь и далее цит. по: *Пишюа К., Зиглер Ж.* Шарль Бодлер // Иностранная литература. 2000. № 4 (перевод В. Мильчиной).

жаемый образ становится чересчур близким и соблазнительным. Возможно, Аполлония умом понимала, что цепи, которыми она меня опутывала, будили во мне инстинкт разрушения. Но её сердце не внимало голосу разума. Слепая любовь заставляла верить в то, во что ей хотелось верить.

Придя домой после наших встреч, ища понимания и поддержки, я подолгу всматривался в безнадёжно молчащее зеркало... А руки сами чесались запустить в него камнем.

Вскоре моё болезненное состояние мазохиста, своими руками убивающего самые прекрасные чувства, обострилось другим событием. Оно поразило меня окончательно. Претворяя в жизнь проекты по реконструкции Парижа, Жорж Осман окончательно снёс церковь Сен-Бенуа-ле Бетурне вместе с кладбищем и могилой великого сказочника Шарля Перро. Я боготворил эту единственную в Париже «неправильно повёрнутую» церковь, которая восемь веков была единственной надеждой на духовное исцеление и прибежищем умалишённых. Она несколько раз сжигалась и вновь возрождалась после набегов гуннов и норманов. Я учился рядом с ней в колледже Людовика Великого. Четыре столетия назад подле неё жил Вийон. Неповторимый Франсуа Вийон, такой же, как я неприкаянный, абсурдный и противоречивый, обречённый на то, чтобы самому оправдывать собственное существование. Как часто я беседовал с ним в своём воображении! Так же, как с отцом и с любимым Эдгаром По, как с самим с собой и со своим зеркалом. Теперь нет дорогих для меня чудесных символов: нет ледяной Аполлонии, нет церкви Вийона, нет и могилы сказочника Перро.

Будто в «Золушке», радость и наслаждения вмиг исчезли, всё вокруг рухнуло и вернулось в прежнее состояние. Эта комната – скверное жилище вечной скуки. Эта мебель, пропыленная и нескладная, грязный пол, в сумраке на полу блестит лужа от пролитой из кувшина воды,

печальные окна с пыльными стёклами, по которым протянулись полосы от дождевых струй, почти матовое зеркало, которое теперь хочется разбить, мои рукописи на полу, перечёрканные и незаконченные...

4.

Тайну рождения стихов я храню в себе. Никто не видел меня за работой. Если в полном одиночестве я и единокорствую с ангелом Господним, то ни одна живая душа не ведает о моих страданиях. Бальзак за одну ночь, ненасытно расходуя кофе и чернила, может родить добрую треть очередного романа. Придирчивый и брюзгливый Флобер утром подолгу гоняет на велосипеде только для того, чтобы безукоризненно прокричать во всё горло написанные этой ночью несколько строк из «Мадам Бовари». Все это знали, верили, бурно обсуждали. Мои муки творчества – полностью мои! Я, словно беременная женщина, месяцами вынашиваю идею короткого стиха. Эти муки – ад и в то же время необыкновенная усадка! Потому что, в конце концов, – я знаю – обязательно промелькнёт мысль, и почти сразу родится идея, целая музыкальная фраза. Потом она превращается в изумительную мелодию, душе становится легко, и ты уже плывёшь по течению. Эта завораживающая музыка, будто пение сирен, сама влечёт тебя, постепенно затягивая в светлый безбрежный океан счастья художника. Ты окунаешься в него с головой и уже не чувствуешь ни времени, ни голода, ни жажды. Только там, в его глубинах, ты сможешь увидеть размытые контуры того, что так неистово искал.

Однако перед этим приходится страдать. Страдать непрерывно, во сне и наяву. Искать, не находить, рыдать от творческого бессилия, снова искать, спорить с самим собой, с выдуманным тобой персонажем, с деревом, камнем... И не дай бог довериться какому-нибудь приятелю, ещё хуже – поэту, писателю или музыканту. Хрупкое строение тотчас рухнет и испарится от неосторожного

прикосновения дилетанта или яркой личности художника. Потом размытые контуры строения начнут уплощаться в слова, в рифму, в ритм – в ту самую музыку, которая только что была внутри и заполняла твоё сердце.

Честное слово, на это не жалко потратить жизнь! Можно и нужно забыть это счастье, радость от созданного тобой. И опять... Я неделями брожу по отвратительным переулкам, по лабиринту мрачных, сырых и грязных улиц с кривыми, прогнившими домами, в которых вдруг на каком-нибудь окошке блеснёт озаривший моё воображение цветок или головка девушки. Могу ночи напролёт просиживать в кабаках, чтобы услышать и ухватить однажды произнесённое каким-нибудь матросом то единственное, сочное и самое необходимое для меня слово.

А сколько я прожил вот так, не написав ни строчки! Если эта борьба с самим собой затягивалась, то мозг начинал воспаляться, и являлся невроз с его капризами, с его бессонницей, страданиями и болезненными прихотями. От одного только осознания этого факта меня бросало в жар. Я поднимался, чтобы остудить лицо холодной водой из кувшина, и потом долго смотрел в зеркало, продолжавшее мутнеть от всё ещё излучаемого мною тепла... Вместе с зеркалом постепенно тускнели мои переживания, и вновь просыпался разум.

В этот чудесный миг моя очаровательная рыжая кошка Алиса кроткими бархатными шагами подкрадывалась, тёрлась о мою ногу, потом мягко запрыгивала на стол и усаживалась подле рукописей в невозмутимой позе сфинкса. Она думала вместе со мной и смотрела на меня из глубины своих зрачков с золотистыми крапинками с какой-то разумной нежностью и таинственной проницательностью.

Выражая себя в слове, я всегда обращаюсь к кому-то, к какому-то слушателю. Иногда это некий мистический собеседник, ещё не явившийся друг или редкая возлюбленная... Иногда – моя Алиса. Она с удивительным тер-

пением ждёт, чтобы я окончил свою работу, и, как женщина, стонущая на ложе любви, всё время испускает завораживающее ритмичное мурлыканье. Невольно сравниваю себя с ней. Такой же чувственный, с таинственной походкой, полный силы при нежной гибкости, такой же взгляд: свободный, колдовской, который порою трудно выдержать... Но чаще всего этот слушатель – я сам. И вот здесь тот единственный случай, когда я достигаю истинного раздвоения своей личности.

В этом году после многих лет кропотливой работы мои стихи, наконец, поступили в продажу. У друзей и близких возникло ощущение, что они прочитали автобиографическое произведение. Они видели меня на каждой странице, чуть ли не в каждой строфе: мою страсть к блужданию и одиночеству среди толпы, мои мольбы, мои проклятья, мои парадоксы, мою пугающую прозорливость.

А уже через месяц в «Фигаро» появились две свирепые статьи за подписью никому не известного родственника руководителя газеты, и начался суд. Вторая империя с моралью не шутит! Гюго, Бальзак, Флобер... Кто следующий? Беда в том, что судьи имели слишком сильно начищенные медные лбы, чтобы усвоить мысль, бывшую прямо в глаза каждому беспристрастному ценителю прекрасного. Всё происходящее вокруг, отражаясь, мгновенно отскакивало от них, как от прокажённых, не успев зацепиться даже за краешек мозгов. Этим омерзительно безобразным чудовищам, вроде заместителя императорского прокурора Эрнеста Пинара, не было дела до внутреннего смысла, до души произведения, а важнее всего было соблюдение чисто внешних условий пуризма. Про мои стихи писали тогда, что в них «гнусное соседствует с непотребством, а отвратительное – с мерзким...»

Суд назначил штраф в триста франков и запретил издание шести стихотворений. Мальчишки-газетчики вмиг разнесли эту новость по всему Парижу. Тогда мне

казалось, что даже вечный стекольщик под моими окнами кричит о том же.

Ощущение безнадежности и непонимания, бывает, поглощает любого человека. Поэта – особенно! Для меня самое страшное – видеть, как в этом ужасном, полном сотрясений существовании истрёпывается, хиреет и утрачивается восхитительная поэтическая способность, неминуемо разрушается личность и теряется смысл жизни. Стремление познавать – греховно, а желание познавать – неодолимо. Изначальная христианская дилемма! Знаю, что поддавшись соблазну дьявола, постигая и раскрывая прекрасное в безобразном, я не обрету ни счастья, ни покоя. Так можно обрести только смерть. То есть, моё странствие изначально обречено. И мои слова: «за каждым валом – даль, за каждой далью – вал»* – дают лишь иллюзию бесконечности, подобно бесконечному отражению предметов в расположенных друг против друга зеркалах... Этакое абстрактное сопоставление внутренней бесконечности с видимой конечностью.

Я просто написал стихи, смастерил зеркало наподобие того, что стоит у меня в комнате... И оно отразило наше жуткое время. Разумеется, мне высказали неприятие. Что ж, так бывало не раз и не два. Всё, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к болезням.

И, наконец, Аполлония! Робость и неуверенность в себе как в мужчине всегда заставляли меня искать партнёршу, по отношению к которой я мог бы чувствовать своё полное превосходство и ничем не смущаться. Все знают, что такой стала моя Жанночка, статистка из парижского театра. Она не отличалась ни особенной красотой, ни, тем более, умом или талантом, постоянно требовала денег и изменяла мне. Однако меня это устраивало. Но вот я встретил, наконец, предмет, достойный обожания и поклонения. Потом этот сладостный миг –

* Из стихотворения Ш. Бодлера «Плавание» (перевод М. Цветаевой).

неделя любви... Потом испуг! Испуг от собственных искренних чувств! Нет, я не изменился, я прежний! И результат тот же: вымученное объяснение и разрыв.

Да, этот год, несомненно, трагический в моей жизни. Он отмечен чередой важнейших событий, расщепляющих мою память, моё сознание и душу. Начало года принесло с собой смерть моему отчиму-генералу. Я мечтал, я требовал её ещё на баррикадах июльской революции! Теперь она случилась и возродила былую надежду на единение с матерью. Но эта надежда не оправдалась...

В конце года снесли любимую церковь и у меня отняли Вийона.

Следовало бы напиться. Но я отправился за привычным призрачным счастьем, которое покупают в аптеке и уносят в жилетном кармане. Одна ложечка зеленоватого «варенья» с чаем — и голова начинает кружиться, тобой овладевает мечтательность... С этим лекарством всякая радость и всякое благополучие принимают грандиозные размеры и затмевают горести и заботы.

Самые обыденные представления, самые простые слова быстро приобрели какую-то новую, крайне странную окраску. По прошествии нескольких минут связь между понятиями сделалась настолько неуловимой, что уже никто не в состоянии был понимать меня... Мною овладела нелепая и непобедимая смешливость. Как будто я в детстве с родителями выехал в пригород Парижа, забрёл в старый сарай и ради забавы валяюсь на копнах ещё пахнувшей только что скошенной люцерны. А в светлом проёме распахнутых дверей ярко-синее небо, зелёная трава и... маленькая девочка. Она улыбается, танцует и зовёт меня...

5.

Влюблённый в Париж, в Латинский квартал, в его вечно молодую студенческую шумную жизнь, в его блеск и грязь, роскошь и нищету, теперь я вдруг почувствовал

к этому отвращение. Вижу непривычные кривые узкие улицы, мостовые под башмаками прохожих чавкают глиной и зловонной массой, в которую превращаются помои и отбросы. Они чуть припорошены снегом. Люди, спотыкаясь, обходят затвердевшие на морозе кучи.

Двое молодых парней неуклюже тащат огромный кусок копчёного мяса... Кажется, будто всё это происходит со мной. Но это точно не я. Наверняка, это студенты Сорбонны прогуливают занятия, несут добычу куда-то в сторону Люксембургского сада, что в конце Латинского квартала. Видимо, там, где в старину был пустырь Люко*, готовится пиршество и, конечно, игра в покер... Они шли и громко обсуждали, как будут слушать последние баллады их приятеля, в третий раз спасённого от виселицы и высланного из Парижа на долгие десять лет...

Вдруг я очнулся. Снова в своей комнате, лежу на полу, перебирая измятые листки со стихами. Моё лицо расплылось в широкой, почти идиотской улыбке, поток видений замер. «А Вийон-то тут при чём? – спросил я сам себя. – Как при чём? Такой же дурак, как и я, купающийся в неопределённости, всюду вхож, не знает только самого себя. Такая же растревоженная душа, которая всё время ждёт ласки или удара судьбы.

Перед глазами снова эта свисающая с потолка старая паутина. «Уже почти десять лет, как угасла революция, а лоскутки липкой паутины власти... Вот они!», – почему-то подумалось мне. Сердце заныло, голова закружилась, и я задремал...

Деревянный потолок комнаты качнулся. Сначала в одну, потом в другую сторону. Будто корабль на волнах. Что-то с гулким грохотом врезалось в него. Посредине разверзлась огромная чёрная щель с неровными краями. Свежий воздух стал поступать в комнату, поднимая

* Место современного расположения Люксембургского сада. Во времена Римской империи и в Средние века, когда Париж именовался Лютецией, называлось Lucotitius. В память о тех временах многие парижане зовут Люксембургский сад Люко.

пыль и срывая своим потоком свисающую паутину... Сквозняк быстро перелистывал мои ощущения и внезапные мысли... Брешь становилась синей, потом голубой, потом появилось яркое солнце, и я почувствовал, что меня волной выносит наверх...

Солнце стояло невысоко и ещё не освещало ту сторону домов, где я оказался. Ни одно окно ещё не засверкало. Бесчисленные зубчатые силуэты дымовых труб, мелкие штрихи тысяч окон постепенно стирались, сливаясь с многоэтажными домами и мансардами бесконечного города. Спустя мгновение я почувствовал странные превращения. Звуки, словно цвета радуги, окрашивали всё вокруг, краски вдруг зазвучали чарующей музыкой...

От кого-то прячась, я стою в неосвещённом углу и смотрю в темноту.

Боже мой! Это подземная тюрьма. В полу яма, в ней клетка. Там заключённый. Это Франсуа Вийон! Я узнал его! Удлиненное тощее лицо, рассечённая верхняя губа, тонкий нос, длинные грязные волосы, вечно озорные искры в глазах. Он в зелёной куртке с огромным белым бантом на груди, измученный, сидит на корточках... «Чёрт возьми! Так это он или я? Не могу понять. И где я? Тут, за углом, или там, в яме?» Вот уже двое стражников тащат меня куда-то. Волокут по грязному полу узкого тёмного коридора. Вижу, как слетели мои туфли, а светлобежевые панталоны испачкались помоями...

Старик в епископском облачении кого-то допрашивает и называет его Ги Табари. Я знаю: это приятель Вийона и случайный соучастник кражи в Наваррском колледже. Он, дурашка, проболтался первому встречному и теперь пытается увильнуть от неминуемой беды. С него сорвана рубашка, руки сзади завязаны верёвкой, и эта верёвка перекинута через балку, закреплённую наверху под самым потолком. Ноги спутаны кожаным ремнём...

Будто алхимик, колдующий над растворами, я смешиваю себя с внешними предметами, становлюсь перекла-

диной на дыбе, верёвкой на руках Ги Табари, парю под каменными сводами темницы... Один палач стал на ремень ногой, оттягивая его как можно сильнее, другой потянул на себя верёвку. У Ги Табари руки с хрустом выпали из суставов и теперь, держась только на коже и на мышцах вывернутых плечей, они вытянулись вверх и вплотную касаются опущенной головы. Горло куда-то исчезло. Голова, прячась, опустилась в образовавшуюся в теле пустоту. Потом беднягу ударили кнутом по спине. И с неё теперь свисают куски кожи, будто большой ремень вырезан ножом до самой кости...

Слышно, как узник сквозь хрипы в горле произносит имя соучастника кражи... Теперь моя очередь. Нужно, чтобы я тоже сознался, и тогда выбор невелик: одно из двух – двухэтажная виселица в Монпелье или такая же, но в Монфоконе...

Наверное, от невозможности восприятия действительности, от предчувствия пытки ужасное видение пропадает само собой... Теперь это уже привычный для меня зал исправительного суда департамента Сена, заседание 6-й палаты по уголовным делам. Там кого-то отчитывают... Этот бред продолжается целую вечность: реплики грозного Эрнеста Пинара и разглагольствования судьи, привыкшего к ссорам между пьяницами, крики зевак и блеск чёрных фраков, заполнивших зал, чтение вслух стихов и покрасневшие от стыда молодые дамы... Совсем так же, как краснела проститутка, попавшая однажды со мной в Лувр, в зал голландской живописи...

Наступает миг просветления. Узоры теней на потолке комнаты, украшенные седыми паутинами, вдруг начинают жить поразительной жизнью. То прозрачная вода течёт по зелёному лугу, то сточные вонючие потоки устремляются по улицам, заставляя людей скользить и падать, а повозки – сталкиваться. Посреди невероятного шума, криков, смеха и плача слух воспринимает самые неуловимые звуки. Внешние предметы приобретают чудовищные очертания. Они являются мне в неведомых формах,

затем постепенно теряют эти формы и, наконец, проникают в моё существо.

Всем своим телом я ощутил, что могу пролезть сквозь толщу спрессованного времени, и никакие материальные преграды не способны мне противостоять. Реальность и фантастика становились неотличимыми. Но вот глубокий хриплый вздох вырвался из моей груди, как будто прежняя сущность уже не в силах вынести тяжести моей новой природы. Словно в тусклом зеркале, я вижу, как, опережая годы, старею прямо на глазах. Лицо покрывается глубокими морщинами, запавший рот приобретает какое-то жёлчное, саркастическое выражение, оголённый лоб становится ещё массивнее, ещё выше. Из-под седых бровей глядят глаза. Пронзительно и недобро...

А передо мной – маленькая девочка. Она ничего не говорит, только весело танцует, приближаясь всё ближе и ближе. Танцует и зовёт...

6.

Куда-то подевались и зловещий замок епископа, и зал суда, и ровные парижские перспективы Османа, и многоэтажные дома... Зима. Париж. Снег. Холод. «Волки сыты ветром...»* Церковные мессы, красочные шествия горожан к церкви своего прихода. Завтра праздник Богоявления**. Грязные улицы припорошены снегом, помои летят из окон. Таверны наполняются людьми. Народ ест, пьёт, распевает песни. Всюду крики, веселье и суматоха. Везде, во всех углах, пахнет жареным. Этот запах сильнее всех других.

Разговор идёт обо всём и ни о чём. Война, свидетелями которой оказались шесть поколений французов, закончилась, но никто не может с полной определённой сказать, как она называлась и закончилась ли она совсем. Говорят о реабилитации Орлеанской Девы, о ценах на

* Из стихотворения Ф. Вийона «Предупреждение» (перевод Ю. Коженикова).

** Имеется в виду ночь с 5 на 6 января 1463 года.

капусту и на лук, о погоде, способствующей, либо мешающей будущей жатве. Студенты заигрывают с хозяйками таверн – на проституткок денег нет...

Я оказался на острове Ситэ, рядом с северной башней Собора Парижской Богоматери. Там шумел и гудел при-тон с вывеской «Бордель Макона».

«Удобное место – подумал я, – этакий Элизиум*, где вечная весна и все проводят дни без печали и забот, – бордель при таверне! И поесть, и поспать...» Весёлая компания проскочила мимо меня, раскрыла двери и ввалилась внутрь заведения. Я проскользнул за ними. Плотный, устоявшийся запах мочи и пота чуть не сбил меня с ног. Зажмурив глаза и схватив зубами края всегда надушенного банта, я начал осмотр помещения, дабы найти тёплое местечко и пристроиться поудобнее. На столах, на подоконниках, на полу, повсюду неубранные остатки пищи, на лавках тут и там в спешке сорванные, брошенные и забытые женские одежды. В центре, за огромными столами, уставленными большими блюдами с дымящимися кусками баранины, густо пестреют добротные фиолетовые и бордовые епанчи с меховыми подкладками. Видимо, это приезжие торговцы с правого берега. По углам всё больше мелькают серые плащи студентов и холостяков из Латинского квартала. Окна завешены тяжёлыми грязными шторами, о которые все кому не лень то и дело вытирают сальные руки. Шум и гам не позволяет выхватить ни одного слова из разливающегося в жутком воздухе потока ругани и междометий.

Дверь снова распаивается, и на пороге позникает ведьма! Дряхлая старуха с седыми волосами, грязными, но завитыми, одетая в несколько разноцветных юбок. В глаза бросается её серебряный пояс с позолоченными крючками, пряжкой и застежкой, который обхватывает давно отсутствующую талию.

* В античной мифологии часть загробного мира. Противопоставляется царству Аида, где смертные терпят вечные муки.

– Пляши, цветочница Нинетта, пока сама ты как букет!* – в глубине помещения кто-то очень длинный встал и, громко произнеся известные стишки, принялся зазывать старуху к себе за стол.

Все, как по команде, повернулись в сторону дверей, и тут же раздался невообразимый гул: узнали Старую Марго. Каждый считал за честь пригласить её к себе за стол и поднести кружку вина. Всякий понимал – и студент, и торговец, и чиновник из Шатле – иметь Марго в приятелях выгодно. Я тоже это знал по своему богатому опыту общения с содержательницами борделей. Уж если ты её накормил и напоил однажды, то всегда можешь рассчитывать на то, что когда тебе приспичит, она не спрячет, а обязательно предложит свеженький товар. А как же иначе?!

Старуха, покачиваясь из стороны в сторону, еле переступая больными, скрытыми множеством юбок ногами, проплыла в центр, прямо к столу богатеньких торговцев и хриплым голосом, улыбаясь беззубым ртом, будто отзвывая на пароль ответила «длинному», продолжив балладу Вийона: «Но будет скоро песня спета – закроешь дверь, погасишь свет...»** Марго с почтением усадили и подвинули тарелку с ещё неостывшим мясом и кружку с вином.

Из-за соседнего стола слышалось: «Послушай, Марго, поясок-то сними. Ведь, знаешь, не положено! Новый прево путаницы не потерпит. Конфискует в пользу короля...»*** Всякому было ясно, тот, кто это сказал, явно завидовал, что не ему сегодня досталось потчевать знатную сутенёршу.

– Короля, короля, – пропитым голосом отвечала старуха. – Сегодня Биш приходил, королевский прощелыга,

* Из стихотворения Ф. Вийона «Баллада-завет прекрасной Оружейницы гулящим девкам» (перевод Ф. Мендельсона).

** Там же.

*** Согласно указам короля каждый должен походить на того, кто он есть. Если на женщине позолоченное серебро и дорогие меха, то, значит, порядочная. Обманывать общество считалось серьезным грехом.

увёл весь цвет моего выводка. Кому увёл? Догадайся сам, – Марго хотела показать народу в таверне, что у неё с королём всё давно улажено и завтра она, несмотря на его указы, обязательно напялит на себя корраловые бусы и ещё что-нибудь из украшений благородных дам с правого берега.

– Сам-то он... уже давно не рыцарь! – перебил кто-то рассказ старухи о короле. – Помню, как он ещё юношей пленных англичан мечом порубал. Я видел!

– Теперь-то чего ему мечом размахивать? – добавил тучного вида сосед Марго. – Уж не молодой, поди!

– Если только двуручным*, – ухмыляясь и намекая на пристрастие нового короля погулять с девицами из парижских притонов, произнёс торговец в чёрном плаще, который сидел напротив. Все захохотали. А старуха, привычная ко всякому роду сальным шуточкам, спокойно продолжала.

– Его можно понять. В дофинах долго ходил. Засиделся, натерпелся. Мать не видел, отца ненавидел. У папашиной любовницы воспитывался. Что из такого может вылупиться?

– Говорят, ваш-то частенько по Парижу бродит с этим Бишем? – пристраиваясь поближе к Марго, опять заговорил её сосед, видимо, иностранец. Потягивая вино из кружки, старуха многозначительно молчала.

– Всё женщин себе ищет, – уверенно, как истинный знаток королевского двора, сказал тот, что сидел напротив. – Неймётся ему всем им напакоstitь.

– С чего вдруг? – тучный сосед всё никак не мог понять, отчего так ведёт себя новый король Франции.

– Марго ведь сказала тебе! Что ты не понимаешь? – словоохотливый торговец в чёрном плаще даже разозлился. – Папаша плохой, мамаша плохая, любовницы папашы – вообще ужас, жена ещё хуже. Он её даже изна-

* Французское название этого оружия (le blanc) имело во времена Ф. Вийона второе, непристойное значение.

силовал, когда ей было лет десять. Вот нравы! А ты спрашиваешь... Всех девчонок забрал у Марго. Тебе этого мало?

Мне показалось, что старуха полностью поглощена ужином и больше не промолвит ни слова: и так выдавала народу страшную тайну. Мол, хватит с них! А студенты, торговцы и чиновники, видимо, понимая бесполезность и небезопасность перемиывания королевских косточек, как-то вдруг стихли и вновь принялись кричать, ругаться, стучать кружками по столу, звать местных девчонок, требовать к себе хозяина таверны и его жену...

7,

Я не очень-то понимал, зачем и как здесь оказался. Это же чёрт знает, что за времена! Но впечатления яркие. Сразу понял, что меня не видят. Я их всех вижу, слышу, а они меня – нет. Это привносило интригу и позволяло передвигаться от стола к столу, прислушиваясь к болтовне посетителей борделя. Главное – не столкнуться с кем-нибудь и не задеть случайно кружку на столе или тарелку. Однако вскоре моё обоняние не выдержало пребывания в помещении, где так сильно пахло мочёй, и я решил поискать компанию поприличнее. Сработало обыкновенное любопытство. Вдруг посчастливится услышать ещё что-нибудь о политике, о короле, о Вийоне...

Перебрался на левый берег, поближе к студентам. Рядом с монастырём Кордельеров на длинном двухэтажном доме болталась вывеска «Сосновая шишка». Проник внутрь. Сначала задержался возле троих, что сидели у входа. Тут то и дело звучали штампы типа: «он безжалостно бичует», «срывает покровы», «яркое полотно»... Неинтересно!

В дальнем углу таверны прилично одетые молодые люди, свободно развалившись на стоящей у стены длинной скамье, степенно брали со стола большие кружки из медного сплава, делали глоток-другой вина, потом закусывали сыром. Его небрежно наломанные желтоватые

куски с синими прожилками плесени громоздились в оловянных тарелках. Они долго молчали, и я уже подумал искать других, как вдруг один из них в куртке из ярко-жёлтого бархата с шумом опустил на стол тяжёлую кружку, вздохнул, потянулся и неожиданно громко заговорил:

– Я так скажу: «Бургундцы – всё-таки не промах!»

– Жан, ты чего? – искренне удивился второй, – нашёл о ком говорить. Враги – они и есть враги!

– Это гады! – убедительно добавил третий. – Всё не могут забыть, как хорошо им жилось при малолетнем дедушке нашего Людовика*.

– Вот уж нагулялись тогда, – мечтательно добавил второй, – всю страну растащили! – Этот собеседник был довольно упитанным типом. Его тёмно-фиолетовая епанча была без подкладки и всё равно не сходилась даже на шее. Он ел непрерывно, порою забывая даже запивать вином.

– Жанну словили да ещё потом англичанам отдали, – гневно, срывающимся голосом снова добавил третий, подетски неуклюже стукнув по столу кулаком. С его головы чуть было не слетела ярко-красная шапочка, похожая на шутовскую, разве что без бубенцов. Из-под неё во все стороны вылезала огненно-рыжая шевелюра такого же цвета, что и огромная кружка с вином.

– А я вот задумался, – снова заговорил Жан, – что же это они дали такое за своей доченькой Марией, когда всучили её в жены нашему герою Карлу Орлеанскому?

– А чего сразу «всучили»? Я бы с удовольствием с такой уединился... – не выдержал рыжий студент в красной шапочке.

Я ещё не совсем понимал, о чём так громко говорят студенты, но промелькнула мысль: «Боже! Как война и смерть меняет всех! Вернее, выравнивает. Раньше и во сне не привидилось бы такое богохульство. Ты что! Ведь

* Имеется в виду эпоха всевластия дядей Карла VI (1380–1388).

это королевская семья! Дочь герцога! А вот на тебе! Должно быть, недоучившийся студент пусть и в мечтах, а уже готов переспать с ней».

– Я и то вижу, как тебя снизу распирает! Ты, Руссо, наверное, перепутал заведения, – Жан мотнул головой в сторону окна. – Тебе – напротив, в «Притон Перретты». Там вмиг успокоят! – Выждав, когда угаснут дурные помыслы приятеля, Жан продолжил. – Так вот, дорогие мои коллеги, вот что я узнал. Когда запахло жареным и англичане побежали, эти сволочи Бургундские срочно решили встрять в королевский расклад. А как? Очень даже просто! Решили отдать дочурку за герцога Орлеанского.

– И ведь взял, – не поднимая головы и не отрываясь от вкусоностей, быстренько добавил обжора, – хоть и Бургундская!

– А куда денешься! – уверенным голосом продолжал Жан. – Бургундский герцог заплатил выкуп англичанам за Карла? Заплатил! И тут же всучил ему дочку своей сестры. А доченька моложе герцога лет на тридцать будет...

– Неплохо придумано! – заключил Красная шапочка.

– Чего не плохо? Это всё ерунда! Дальше, ещё лучше! – Жан, интригуя, выждал приличную паузу и продолжил. – Зачли выкуп в качестве приданого доченьки! Понял? А деньги на выкуп где взяли? Из приданого третьей жены самого герцога. Во как!

Поражённый размахом деловитости семейства Бургундских, обжора прекратил глотать куски сыра и сквозь полный рот еды промывчал: «Во-о-от это да-а-а!» Потом всё-таки проглотил и, глядя на физиономию рыжего, искажившуюся не то от чрезмерного цинизма герцога, не то от недоверия к Жану, выпалил:

– А ты: «Переспать, переспать»...

Я внимательно слушал и радовался находке. Конечно, такого смачно говорящего учебника истории в наше

время не сыщешь во всём Латинском квартале! Пристроившись поближе, я поглощал каждое слово, каждую реплику прилично подвыпивших студентов. Правда, моё состояние было не из лучших, немного мутило, то и дело всё куда-то сдвигалось и исчезало. Приходилось шарить глазами в поисках понравившихся мне собеседников.

Трое студентов вроде бы успокоились. Но Жан не унимался. Из него просто выплёскивался фонтан знаний. По всему было видно – он насобирав много фактов, всяких слухов, и теперь его мучила жажда славы. Чувствовалось, что ему хотелось удивления и восхищения коллег.

– Слушайте меня, аттестованные мужи, и запоминайте! Я сейчас вам скажу крамолу. Наш Людовик, конечно, если по закону, то не совсем король... – Опережая реакцию соседей по столу, Жан спросил: – «Почему»? Потому что его папаша тоже был из проблемных. Вот как он мог короноваться, если англичане, захватив Париж, подписали с его матерью договор о престолонаследии? Там ему ничего не светило. Бургундские становились наместниками. Да что англичане! Собственная мамаша признала его незаконнорожденным.

– Значит, смог...

– Опять ты за своё! – Жан даже разозлился и себе под нос тихо добавил: «Рыжий дурак...»

Жан точно произнёс: «Рыжий дурак». Я отчётливо слышал и только сейчас понял, что это фамилия рыжего с красной шапочкой «Рыжий дурак», то есть «ру со». В наше время, ещё перед революцией, был такой романтик-мыслитель, Жан-Жак Руссо. Всё мечтал о том, чтобы народ сам управлял государством. Его так и звали все по фамилии, а не по имени.

– Я ещё раз тебе говорю, – разъярялся Жан. – Просто Жанна д'Арк вернула нам Орлеан, а потом прямо из Шинона через захваченные англичанами земли доставила Карлушу в Реймс. Там по-быстрому его и короновали. Уже как Карла VII.

– Раз короновали – значит, король, – не унимался Руссо.

– Да король, король. Фу, ты какой! Ты, главное, запоминай! Раз отец не совсем законно стал королём, значит и сын его, наш теперешний Людовик XI, тоже под вопросом. Теперь чуть что случись то ли с королём, то ли с его сыном... Всё! Быстренько детишки Карла Орлеанского и Марии Клевской пойдут в гору. Понял? Здесь политика!

– А я знаю, как Карл VII хотел с Бургундцами подружиться, – не выдержав, вымолвил обжора. – Те долго воду мутили против короля...

– Про этих потом, – Жан остановил поток познаний обжоры. Замолчал, будто что-то вспомнил, что-то очень важное, потом почему-то заулыбался, обнажив неровные желтоватые зубы. Он отобрал кружку с недопитым вином сначала у обжоры, а потом у рыжего и водрузил эти начищенные до блеска медные сосуды прямо в их тарелки, где по краям ещё ютились остатки сыра. Удовлетворившись шедевром созданного натюрморта, Жан продолжил говорить, показывая ладонью сначала на одну, а затем на другую тарелку: – Вначале разберитесь с Орлеанской тарелкой и с Бурбонской. В общем, если коротко, дело представляется мне примерно так.

Самый активный из студентов начал обстоятельно описывать план, по которому, как он выразился, можно будет накрепко привязать к королю Орлеанских, а заодно и Бурбонов. В этом проекте он задействовал обеих дочек Людовика XI. Одну предполагалось выдать уже сейчас замуж за малолетнего сына герцога Орлеанского, а вторую дочь – за одного из сыновей герцога Бурбонского. Потом Бургундский герцог сам сдастся... При этом Жан переложил по куску сыра из Орлеанской тарелки и из Бурбонской к себе в третью, якобы к «Людовику XI».

Обжора, внимательно наблюдая за хитрыми манипуляциями Жана, совсем расстроился после того, как ещё

приличный кусок сыра с его тарелки переместился в другую. Но через минуту, должно быть, мелькнувшая шальная мысль вернула его в прежнее благодушное состояние. Он лениво потянулся, забрал свой кусок сыра и сразу же от греха подальше направил его в рот. Пожывая, он на удивление довольно внятно произнёс:

– Все знают, что Мария Орлеанская* давно помолвлена с Пьером де Боже из Бурбонской ветки. А из нежеланных отпрысков только он и остаётся.

– Так расторгнуть помолвку! – уверенно парировал Жан. – Чего проще! Или ты не юрист? Это же не замужество!

– Скажешь тоже: «расторгнуть», – молвил рыжий. Он там как родной для герцога Орлеанского, даже живут вместе в Блуа.

– А почему как родной, задумывался? Да потому, что у Карла Орлеанского шестнадцать лет после женитьбы не было детей. Вот он и пригрел Пьера де Боже из Бурбонне. А теперь вспоминайте! – постепенно развивал свою мысль Жан. – Помните, какие слухи ходили, когда у Орлеанских наконец-то родилась Мария? Болтали, мол, не герцога это дочь. Ну, вспоминайте! Мол, после плена старик немощен... В общем, всё изящно складывается. Можно убедить Жана де Бурбонне, старшего брата Пьера, что Мария Орлеанская, вроде как, и незаконнорожденная. Старший повлияет на младшенького, глядишь, тот руки в ноги и к Людовику XI, проситься в мужья к его доченьке Анне Французской. – Жан аккуратно, боясь раскрошить, двумя пальцами прихватил новый кусочек сыра из тарелки обжоры и торжественно снова переложил его к себе.

– Эта задачка, достойна большого пройдохи, – наконец согласился Руссо. – Только кого королю подрядить на такое?

– А вот это уже задачка для нас, – заключил Жан с таким видом, будто весь разговор он строил именно для

* Дочь Карла Орлеанского и Марии Клевской.

этого. – Поищем, попробуем влезть в большую политику... А?

Он взглянул на своих приятелей и, наверное, впервые пожалел, что рассказал им о своём плане. Те сидели с тупыми лицами, вперившись глазами в собственные тарелки. В них не было видно ни одной мысли!

– Папаша нашего Людовика в своё время поручил похожее дело поэту, – вдруг гордо выпятив грудь, уточнил обжора. – Был такой, Ален Шартье. Уж не знаю, за какие такие умения и за какие деньги. В общем, женили дофина на девятилетней Маргарите Шотландской!

– Точно! – радостно добавил Руссо. – А она вскоре испустила дух, то ли от жизни своей, помешанной на поэзии, то ли от муженька своего больно охочего до женской плоти.

– Но почему ты думаешь, что король вообще станет заниматься этой ерундой, – всё ещё сомневался обжора, – у него власть, у него армия...

– Ты что? Во-первых, у него давно уже не армия, а войско одних шпионов. – Жан говорил так уверенно, будто каждый день бывал при дворе. – А во-вторых, это совсем не ерунда! Да он только так и будет делать свою политику. Зуб даю! Только вот поэтишку, типа Шартье, нужно сыскать, а потом подсунуть кому следует, да побыстрее...

Они долго перемалывали все возможные варианты кандидатур поэтов, женитьб, размолвок и неожиданный смертей. Я устал всё это слушать и понял лишь одно. Людовик XI был именно таким, каким нам его подавали в колледже. И для объединения страны он будет поступать именно так, как только что красочно рассказал этот парень – недоучившийся юрист. Но действительно: когда и с кем? Попробуй, найди такого пройдоху!

8,

Наступило похмельное утро. Уж не помню, где ночевал и куда делись студенты из таверны? Но я, как и весь проснувшийся люд, позёвывая после бессонной празд-

ничной ночи, будто по привычке присоединяюсь к потоку, стекающему к Гревской площади. Слышу, говорят, что там сегодня представление: будут варить фальшивомонетчицу. Мол, народ давно ждал, когда её казнят, да всё откладывали. Что совершенно точно, так это сегодня накажут офицера городского патруля за то, что он ослушался ректора университета и осмелился поднять руку на студентов.

Осуждённый уже стоял на коленях, положил на плаху свою руку, обратив её ладонью вверх. Одним ударом топора палач отрубил её. Та отскочила и шмякнулась в стороне. Все загудели: это было слишком быстро и неинтересно. Хотя казнили почти каждый день, а в Монпелье и Монфоконе одновременно раскачивались на ветру до сорока висельников, воровство никуда не исчезало.

Я оказался на правом берегу Сены под стенами Большого Шатле, крепости, заложенной ещё при Людовике Толстом. «О, вспомнил то, чему учили! Да, это его внук Филипп II Август стал первым королём Франции, а не франков, – вдруг мелькнули в моей голове заученные истины. – После этого династия так окрепла, что правнук Людовика Толстого даже не нуждался в специальном короновании и помазании на царство, как это было принято у всех Капетингов. – Фу, чёрт, что только не придёт в голову! Зачем мне это? Но как так? Я же знаю, на этом месте должна быть площадь с двумя театрами по краям и посередине Пальмовый фонтан... Я был там вчера вместе с Оноре. Что происходит со временем?»

Запах копчёного мяса сильно ударил в нос, я сглотнул слюну и сразу прекратил упражнения по выуживанию из памяти исторических фактов. Здесь размещалась скотобойня, а утром, видимо, шла торговля мясом. Рядом со скотобойней тянулись одноэтажные строения с десятком кривых труб на крыше. От них и шёл завлекающий запах. Он любого совратит! Только не этих двоих. Откуда я их знаю? Ах, да! Я их уже видел когда-то. У каждого на груди висит тоненькая дощечка с именем

«Тома Кристо» и «Вале Робер»... Зачем дощечки? Чувствуй какая-то!

Парящий высоко под потолком над всеми бочками коптильни, я вижу двух юношей прямо под собой. Вот они крадутся, оглядываясь по сторонам. Эти знают своё дело! Вийон писал, что у самодовольного и богатого Вале папаша крупный чиновник из Шатле. Кому как не его сынку знать всё, что рядом с местом работы родителя! Парень не раз, прогуливая занятия в университете, шатался по коридорам крепости, ожидая там своего родителя, многое выведал и, в частности, одну незатейливую лазейку – тайный выход наружу, в мясные ряды и коптильни.

Вале давно опробовал эту щель в стене, мог легко пролезть через неё, хорошо ориентировался и безошибочно находил, где в коптильне делают чесночные колбаски, где грудинку, замоченную в рассоле, а где окорок. Там ведь с ходу ничего не разберёшь. Всё это висит на крючках в больших дубовых бочках без дна, сверху покрытых рогожей, под бочками камни и щепы дуба или осины. Самое лучшее, если набредёшь на древесину из персика или можжевельника. Она коричнево-оранжевая, а дым пахнет пряностями...

«Попади сюда, – подумал я, – и попробуй в дыму при температуре тридцать градусов мгновенно отыскать нужное. А вдруг сегодня не непрерывное копчение, а так, всего минут на двадцать». Цвет мяса и его готовность не разглядеть. Под балками потолка скапливались непрерывно колыхавшиеся клубы пара. Жара становилась невыносимой, и я незаметно опустился вниз... Свет фонарей, падавший слева, сквозь высокие окна, расцвечивал стелющийся, клубящийся пар в нежные опаловые, серовато-розовые и голубовато-серые тона.

Тома Кристо, весь взмокший, всё время смешно дёргал головой, чтобы убрать с глаз мокрые пряди волос. Переходя от окна к окну, он задёрнул плотные занавески. Здесь, наверное, спасал только опыт и знание привычек

хозяина мясной лавки. Таща окорок по очереди, они за чем-то зашли ещё и в угловое помещение с колбасами. Там Кристо, не говоря ни слова, быстро нахватал полмешка чесночного лакомства и спрятал его под прилипшей к животу рубахой. Я плёлся позади, не выдержал и тоже взял за пазуху несколько кругов колбасы...

Снаружи воздух резал лёгкие, хотя лишь слегка подмораживало; хлопья снега были большие, влажные и липкие. Лошади громко фыркали, редкие прохожие спешили поскорее закончить дела, чтобы сесть ближе к огню. Студенты быстро добрались до Сены. Отсюда особенно страшно было смотреть на зримые символы королевской власти того времени. Ещё стояла нетронутая народом Бастилия, на фоне лачуг чернели огромные стены другой тюрьмы, Шатле, и уже на самом острове Ситэ – башни Консьержери. Рядом Собор Парижской богородицы. Многие его ниши были сплошь забиты снегом, на головах статуй высокие снеговые колпаки. Обычно, бывая здесь, я задерживался, чтобы полюбоваться громадой собора, но сейчас даже не замедлил шаг: спешил, боясь потерять из виду увлёкших меня воришек. Они перешли на левый берег по тесно застроенному домами Малому мосту.

«Но отчего так темно? Ведь только что начинался новый день, – подумал я, – и уже темно! Почему вообще я увязался за ними?..» Уже смеркалось, промозглая мгла наполняла узкие улицы. Стены и крыши домов, фигуры прохожих сливались в нечёткие тёмно-серые силуэты. Казалось, ночь поглощала всё своим бездонным нутром, и жизнь продолжалась только там, где сияли факелы, где плясали по стенам тусклые отсветы уличных фонарей, где за окнами жилищ светились золотые огоньки сальных свечей... Ни одна звезда не выглядывала из-за плотных туч, только ветер носился над крышами, заставляя скрипеть ржавые флюгера.

Пробило десять, когда мимо пустыря Люко, похлопывая рукавицами, прошли патрульные городской стра-

жи с фонарями и алебардами. «А я в чём? Во что одет? И не холодно! Увидят такого – вмиг арестуют. – Я попытался взглянуть на свои светло-бежевые панталоны, испачканные в замке епископа, на зелёную куртку, но ничего не увидел, вытянул вперёд руку – тоже ничего... – Я что же, опять невидимый? Это уже становится забавным!» Хуже другое! У меня в голове всё перепуталось: то ли это Вале тащит мясо на плече, то ли я и есть этот кусок окорока...

Когда молодые воришки незаметно выбрались из копильни, я помню, было совсем светло. Сначала они припустили к Большому мосту. Потом остров Ситэ, Малый мост, и вот уже холм Сен-Жермен с беспорядочным нагромождением тесных улочек, вечной суетой и смехом школяров... «Ах, да! – вспомнил я, – они что-то говорили о Вийоне и шли к пустырю Люко, в то самое место...» Теперь до садов и огородов было уже рукой подать. По улице Сен-Жак и всё под гору. Вот именно, под гору. Это значит, им придётся упасть и не раз, поскользнувшись на толстом слое вязкого месива из помоев и экскрементов, покрывающих улицу. «Одно хорошо, – подумал я, – мокрый снег не позволяет подниматься смраду, а холод кое-где превратил всё это в более или менее твёрдый грунт».

Путешествие к Люко длилось целый день. Одно и то же место в Париже, где проходили эти двое, словно дежавю, повторялось по несколько раз. Особенно часто перед глазами появлялась студенческая улица Фуарр. Это было родное, близкое. Видимо, к ней тянуло. Она больше походила на средоточие притонов, чем на факультет из десяти школ. Весь Париж знал, что по выходным дням студенты устраивали там попойки. Вот и вчера ночью школа напоминала одновременно и бордель, и общественную уборную. Благоразумные, щадящие свое обоняние люди старались держаться от этой улицы подальше. Потом пара прогульчиков несколько раз возвращалась на правый берег и наведывалась к Гревской площади.

Будто время от времени воришки пытались уточнить: правильно они всё проделывают или сегодня что-то не так? Это место всем доходчиво напоминало, что хорошо, а что плохо. Тем не менее, убивали, крали и обманывали повсеместно. Должно быть, война приучила так жить, и от этого не избавиться никакими устрашениями. Ведь вот приятели всего-то в ста метрах от Гревской площади самозабвенно занимались своим делом, и у них всё получилось!

Другой паре тоже повезло. Это были Ги Табари и Жак Рагье. Я их знал. Второго Вийон подробно описал в своём Малом завещании. Первого совсем недавно видел на дыбе в замке Мен-сюр-Луар. Значит, выжил! Или опять всё перепуталось в сознании и во времени? Второй – сын королевского повара, жуткий пьяница, дебошир и горлопан. У них тоже на груди были дощечки. Будто специально перед виселицей надели их себе на шею только не с нацарапанными словами «мошенник», «вор», «фальшивомонетчик», а пока только с именами. Жуть какая-то!.. С ними бочонок вина – стащили с причала у самой Гревской площади и теперь катили по улице Сен-Жак под гору да ещё не по мягким помоям, а почти по твёрдой от мороза мостовой. «Так сподручнее, – вдруг подумалось мне, – бочонок не стукнется о стену дома. Глядишь, докатят, не разобьют, и будет чем скрасить ужин из копчёного окорока». Только Табари наверняка мучили другие проблемы. Лишь бы Рагье не соблазнился отпить раньше времени. А зачем тогда он почти без умолку хохочет? И всё без причины, да так громко! И ещё одно. Не дай Господи, чтобы в бочонке было Марийон – самое поганое зелье во всей Франции!

Они уже миновали перекрёсток улиц Сен-Жак и Эколь. Две пары студентов-воришек, видимо, договорились встретиться именно здесь, у церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Тут, как всегда, в надежде на исцеление толпились чокнутые, а рядом когда-то жил магистр искусств их приятель Франсуа.

Вижу, ребятки насторожились. Оказывается, они знали, что обычно в это время на другой стороне перекрёстка мэтр Ширак прямо с балкона дома с вывеской «У булочника Жюльена» читает лекцию студентам их факультета «Нужно быстрее проскочить это опасное место, – крикнул Жан Ратье. – Увидят – хлопот не оберёшься!»

Миновав природную аудиторию мэтра Ширака, четверо прогульщиков с шутками и прибаутками катят бочонок к пасеке церковников на Люко. Робер, тот, что нёс на плече копчёную говяжью ногу, поскользнулся на дерьме и с шумом плюхнулся вместе с драгоценной ношей. Толстая женщина с белобрысыми кудрями тотчас выглянула в окно и, нарушая указ короля, не предупреждая криком, выплеснула из окна помои и обдала ими упавшего. Робер, как ни в чём не бывало, отряхнулся, засмеялся и, подобрав испачканное мясо, поковылял дальше.

Я тоже получил свою порцию дерьма и явственно почувствовал кожей вязкую, тягучую жидкость, заползающую за бант, за воротник сорочки и вызывающую приступ тошноты...

Часть 2

*Эти вопли титанов, их боль, их усилия,
Богохульства, проклятья, восторги, мольбы
Дивный опиум духа, дарящий нам крылья,
Переключка сердец в лабиринтах судьбы.*

Бодлер Ш. Маяки (перевод Вяч. Иванова)

1.

Франсуа вбежал в первый попавшийся двор и, перепрыгнув через стену, очутился на знакомом пустыре. Измученный и полузадохшийся, с раскровавленной губой, дрожа всем телом от страшного возбуждения, он торопливо раздвинул упругие ветви кустов и ступил на неровную дорожку, покрытую битым жёлтым камнем. Сердце неистово билось, шумно ударяя в грудь. Вдохнув несколько раз жадно и глубоко, он почувствовал сильную слабость во всём теле. Ноги дрожали, и лёгкий гул стоял в ушах. Над головой висел пчелиный рой. Франсуа осторожно, чтобы не испугать пчёл, сделал пару шагов и тяжело опустился на землю. Несколько секунд он сидел, устремив глаза на то место в кустах, откуда только что вылез. Потом повернулся. Перед глазами тянулась аллея из зелёных кустов и пасека пчелиных ульев... Надо было что-то придумать. Чуть в стороне от него

из земли торчало низкое здание без крыши из такого же жёлтого камня, что лежал на дорожке. Внутри строения чернел огромный лаз с подобием ступеней...

В то утро ярко светило солнце, после ночного дождя воздух был чистым и звонким. Двадцатитрёхлетний мэтр Франсуа Монкорбье сидел на пороге своего дома на улице Сен-Жак, прямо под часами церкви Сен-Бенуа-ле-Бетурне, где служил капелланом его приёмный отец. Дышать свежим воздухом, беседовать с друзьями, сочинять стихи своей возлюбленной или просто глазеть по сторонам – лучший отдых для добропорядочного горожанина.

Мимо двигались редкие прохожие, улыбались и беседовали, довольные только что отшумевшим праздником. К мокрой булыжной мостовой прилипли розовые и вишнёвые лепестки, оставшиеся после праздничной процессии, в воздухе носился их аромат...

Вдруг к Франсуа подбежал разъярённый священник Сермуаз в сопровождении двух или трёх человек и закричал: «Клянусь Богом! Я вас нашёл!» – после чего затеял ссору. Мэтр Монкорбье пытался его успокоить, но Сермуаз только сильнее горячился, наконец, выхватил кинжал и ранил Франсуа в лицо, порезал ему губу, а тот, защищаясь, своим кинжалом ткнул Сермуаза в пах и убежал. Священник, не чувствуя раны, пустился вдогонку, конечно не догнал, а через два дня умер.

После этого трагического события Монкорбье впервые пришлось скрываться в ожидании справедливого решения суда. Тогда же он повстречался с необыкновенным человеком, который, как ему казалось, его понимал и всегда ждал. Скоро будет семь лет этой дружбе. Это друг! Нет, вернее сказать, партнёр. То ли он умудрялся жить здесь в полуразрушенном строении на пасеке Люко, то ли специально так угадывал и всегда вовремя оказывался в забытой всеми дыре, где раньше добывали камень для парижских мостовых. Должно быть, это студент... Наверняка, студент. Почему Франсуа до сих пор

не спросил его? Он прибежал сюда всякий раз, когда трудно, когда опасность гналась за ним, когда хотелось тёплого слова, внимания и ласки. Этот студент, друг, партнёр... Только сейчас мэтр Монкорбье понял, что даже не знает его имени! Так вот, этот горячий поклонник умилялся до невозможности. Читал наизусть его стихи, насчитал тридцать семь персонажей, кому Франсуа дарил в Малом завещании сорок три своих и чужих предмета, точно знал, сколько там посвящено строк одному, а сколько другому. Вечный спорщик, всё хотел что-то изменить в стихах, а иногда, бесстыжий, с укоризною общал, как о своём великом открытии, что, мол, он, Франсуа Монкорбье, что-то там списал с творений Алена Шартье и чуть ли не его двойник! В общем, что тут скажешь? Влюблён до невозможности в «великого поэта» (как он, наверное, именовал про себя Франсуа) влюблён, как влюбляются в кумира.

Сколько же ему лет? Так сразу и не ответить. Ведь то, что он студент, ещё ничего не значит. Франсуа тоже студент... Это не возраст – всего лишь образ жизни. Такая чудесная пора! Свобода, податливость любому влиянию, свежесть впечатлений, обретение соблазнительного опыта, казавшегося ранее запретным. Время замедляется, и, кажется, что его ещё очень-очень много... Короче. Этот мальчишка – хотя им сейчас уже за тридцать – в один прекрасный день сделал мэтру восторженное признание, а Франсуа принял его восторги более благосклонно, чем ему это было свойственно.

Так бывало не раз. В какой-нибудь вечер, стремясь укрыться от людей, Монкорбье вдруг вспоминал, что у него здесь имеется поклонник, любимый друг, и шёл молить его о приюте на одну или две ночи, выдумав в качестве предлога какое-нибудь весёлое и забавное приключение. Важно, что именно в этот день поклонник его ждал. Как такое возможно?! Просто чудеса! А чтобы отблагодарить хозяина этой чудесной норы за гостеприимство, он целую ночь напролёт очаровывал его своими

рассказами, соблазнял блеском остроумия и неудержимой распушенностью. Видимо, чувственная женственная натура Франсуа возбуждала поклонника его таланта. А «великого поэта» в свою очередь пленил темперамент, импульсивность и увлечённость приятеля. Распушенный, как настоящий потомок римлян, и полностью зависящий от случая, вечный студент каждый день жил так, как ему хотелось. Правда, чаще всего бедно. Но, как тогда говаривали: «Бедность – не порок!» Кроме всего прочего, он поэт! А это по природе своей – существо двуполое. Оно во имя внутреннего диалога способно к бесчисленным расщеплениям... Может стать сутенёром и женой хозяина кабака, студентом и проституткой, менялой на мосту и поэтом, герцогом, бандитом, палачом... Да, чёрт его знает, кем ещё!

Настанет утро, и перед уходом в знак дружбы и любви можно даже принять что-нибудь от любезного и счастливого хозяина. Серебряные ложки или кубок для вина с какими-то камнями на стеклянной ножке – хорошо будет!

«Когда всё, что окружает, никак тебе не подчиняется, – рассуждал Франсуа, – такое милое существо рядом – хорошая защита от страха. Если вдруг появляется чувство вины, ведь нарушаю иногда что-нибудь, не без этого, – плохой он, а не я: не остановил, не предупредил! – Мэтр Монкорбье даже улыбнулся, обрадовавшись такому ходу мысли. – Пожалуй, я должен его уважать и даже отчасти оберегать, как мальчика-брата, любимого и родного. Тем более, он такой сложный, накрученный и такой беспомощный, всё время на лице какая-то маска. Она скрывает его чувства. Он боится. Боится раскрыть душу, потому что уверен: люди туда обязательно плюнут. Видимо, натерпелся в детстве. Почти как я! Только я-то могу выжить и всегда вывернуться, а этот – вряд ли! Для него в детстве, похоже, удар был посильнее. Потому и скрытность просто сумасшедшая. Да и сам он немного странен во всём: в поведении, в словах, в одежде. Вот

только мне и верит. Я для него отдушина, святое создание, которое не станет оскорблять его ранимую искорёженную душу... »

В отношении своего приятеля Франсуа всегда сохранял известное целомудрие. Живя в отдалении от центра города, вдали от уличного шума, на самом краю Латинского квартала, поклонник, вероятно, не имел понятия о многих проделках своего кумира, мэтра Монкорбье. «Собственно, какие проделки? – всякий раз сам себя убеждал Франсуа. – Вот я сижу здесь тихий спокойный, сухой и чёрный, безбровый и худой, как Химера, с головой, напоминавшей очищенный и поджаренный орех, прячу шпагу в полуженском одеянии студента... Какие проделки? Могу украсть бочонок вина или окорок мяса. Да, могу! Ну и что? Не для накопительства же: просто, чтобы прожить ещё один день и поделиться с приятелями... Придурка Сермуаза убил? Так поделом! И то случайно вышло: чистая самооборона. Ещё раз просто оказался рядом. Кто-то кого-то грабанул, а меня прихватили за компанию. Недавно опять, но я тогда только на стрёме стоял... За всё простили, кстати сказать, – Франсуа даже выпрямился от гордости за себя. – Сначала один король простил, потом – другой, только корону нацепил и сразу простил. Будто сговорились, будто это ритуал у них такой! Для чего-то берегут... А ещё помню: через город провозили трёхлетнюю дочку герцога Орлеанского. В честь такого события опять простили. Я даже влюбился в неё... Вчера вот, Парламент простил. Правда, прогнали из Парижа. Три дня дали на сборы. Я уверен, что обязательно получу такое же прощение и от Бога, прощение всех своих грехов, и прошлых, и будущих».

* * *

Со стороны интересно было наблюдать, как они беседовали. Иногда, очень редко, поклонник читал что-то своё... Некоторые слова мэтру было непонятны, но сила и музыка стихов чувствовалась, заставляла видеть пре-

красное. Даже в дерьме! «Здорово! Почти, как у меня!» – не раз с гордостью произносил Франсуа.

Их беседы не ограничивались стихами. Были вопросы и ответы, выражавшие, надо признать, весьма сложные мысли. Они как бы вспыхивали, отпечатываясь на сером листе сознания, и озаряли необычайным светом то тёмное и неясное, чего касался вопрос. Читая баллады Франсуа, приятель вдруг останавливался и, скромно потупясь, тихо говорил, как лучше было бы написать то или это... Такая чрезмерная скромность никак не уживалась с вычурной внешностью и одеждой поклонника. Когда вместе читали балладу «О состязании в Блуа», он твёрдо настаивал на своём и вместо слов «Страшусь упасть, лишь лягу на покой» заставлял написать: «Я, лежа на земле, боюсь свалиться».

«В общем-то, так, конечно, лучше, – соглашался Франсуа, – с кровати всё-таки можно упасть, если очень постараться... Но какая теперь разница! Это как прошлогодний снег – турнир окончен, опущен занавес. Всё равно я победил!» Приятель находил у Франсуа ненужные повторы, неправильные цитаты, знал, что он списал, и у кого. «Надо же, каков наглец! – думал о нём „великий поэт“, но всякий раз ничуть не обижался и повторял: «Наш приятель, должно быть, даже не догадывается, что у нас каноны во всём! Как изображать пап и императоров, купцов и монахов, юношей и девушек, стариков и старух, красавцев и уродов... И потом... Копируют только таланты. Гении всегда воруют!».

Процесс их общения завораживал, исцелял, а потом обоих увлекал к действию.

«Я живу в Париже как белка в колесе, не зная ни минуты покоя, – рассказывал про себя Монкорбье. – Движение – прежде всего! Я даже смерть наделяю этими свойствами, даже здесь умудряюсь проявить любовь к ритму... Изображаю, как ветер раскачивает тела несчастных повешенных туда-сюда, туда-сюда... Я думаю, что и в преступлении меня пленит вовсе не демонизм, а его

динамика. В общем-то, я, пожалуй, единственный поэт, лишенный каких бы то ни было иллюзий. Отправляясь в жизненное плавание, я просто не беру на борт столь хрупкого груза. Только то, что вижу и чувствую, никакого воображения, никакой природы с её луной, зелёными травинками и дуновениями весны». Франсуа замолчал, задумавшись о чём-то...

Иногда так бывает: два человека, пребывая в духовном кризисе, долго идут по жизни навстречу друг другу, сами того не зная. Встречаются. Похожесть судьбы, сходство характеров, уничтожающее давление жизненных противоречий... Постепенно возникает чудесное ощущение доверия. А внутри этого обнажённого мира – особая среда, среда любви, дружбы и взаимной зависимости. Душа пробуждается, освобождаясь от уз привязанностей, оказывается потрясаясь свободной от убаюкивающего воздействия привычек... Психика постепенно, с надрывом, начинает гасить угнетённое состояние, «осознавая» его односторонность. На поверхность выходит совсем другое ощущение терзавших тебя противоположностей. Оно уже отличается от деления на чёрное и белое...

* * *

Я вздрогнул. Неожиданно так же, как в детстве, прямо перед глазами на фоне голубого неба опять появилась счастливая танцующая девочка с крыльями бабочки... «Почему она меня преследует? – вопрос застрял в мозгу и не находил ответа. – Или это я сам хочу её видеть? Тогда зачем?..»

Оба приятеля искренне радовались единению душ. Но самое большое наслаждение им доставляло осознание того факта, что они готовы вечно купаться в самом процессе, даже если в результате получались одни неприятности. Франсуа любил повторять:

– Согласись, пить хорошее вино, красть, любить – гораздо лучше, чем похмелье, потная от страха рубаша или случайная беременность...

Почитатель мэтра соглашался и, словно умудрённый старец, продолжал понравившуюся ему мысль:

– Жизнь с каждым из нас проделывает такие штуки, и мы совершаем множество ошибок... Но это нормально. Все путешествуют по жизни с мешком, полным обид и разочарований. Мы ищем цель, стремимся к ней, а достигнув, испытываем разочарование, понимая, что это совсем не то, о чём мы мечтали. Люди часто ошибаются...

– Как же определить истинную цель?

– Я думаю, если стремишься к ней, то это она и есть. А ожидание самого результата – это другое, это мать всех разочарований. Наверное, нужно иметь такой внутренний двигатель, который никогда не останавливается. Вот ты говоришь, что для тебя движение – это всё! Даже в смерти, даже в преступлении... Для меня – это мир живописи. – Я невольно вспомнил отца, наши прогулки по Латинскому кварталу. В детстве отец успел мне это подарить... Волшебное, почти священное место – Люко. Для нас это Люксембургский сад с его скульптурами! Он воплотил в себе всю человеческую цивилизацию... – Франсуа молчал, с искренним интересом глядя мне в глаза, будто чувствовал, осознавал мощь многовековых пластов времени. Совсем как в его балладе «О дамах былых времён»... – Но потом мне стало недостаточно быть просто зрителем. Я захотел перепрыгнуть в зазеркалье и сам начать творить, рассказывать людям своё видение жизни. Так уж вышло: у меня рождались стихи. Это захватывало. Я был готов пожертвовать всем: временем, деньгами, комфортом, связями со знакомыми людьми – лишь бы родилось нечто прекрасное, и через это понять себя самого, хотя бы на миг увидеть себя со стороны... Я был одержим этим процессом. А с годами понял, что успех не в том, сколько и что я написал, а в том, что я так и не утратил мечты. Сегодня ничего не изменилось. У меня всё ещё есть этот двигатель. Понимаешь? Осталась та же страсть, что и в детстве.

Приятель Франсуа говорил долго, не останавливаясь, будто он сорвал невидимый кокон, который сковывал его

и не позволял проявить искренние чувства. Он и раньше тонко чувствовал и глубоко переживал всё происходящее вокруг, но что-то всегда мешало, мешало выразить это...

– Самое главное – не нужно думать только о результатах, – уверенно продолжал я. – Это всё разные слои твоей жизни: слава, комфорт, деньги... Они иногда касаются друг друга и, как облака, вновь разлетаются по воле ветра судьбы. Если ты олицетворяешь воплощение своей мечты, всё остальное придёт. Непременно придёт. Худший враг успеха – это нетерпение. Не важно что это – поэзия, живопись, политика, любовь... Ждать надо!

– Вообще-то, жизнь – это тоже процесс, – задумчиво произнёс Франсуа, – и в нём есть только две настоящие трагедии. Одна – когда не получаешь того, чего хочешь, вторая – когда получаешь.

– Выходит, каким бы ни был результат, он не принесёт счастья. На это способно только постоянное движение к цели! – Я вдруг подумал, что истые пловцы – те, что плывут без цели... Но не произнёс этого вслух. Заряд глубоких обобщений остановил потоки мыслей и слов.

Пребывание в пути, в свободном плавании, всегда чудесно и таинственно! Странники или мореплаватели ощущают себя летучими, словно духи, даже по отношению к самим себе. «Неужели это происходит со мной!» – то и дело повторяют они, покидая своё окружение, привычные связи и воспаряя в высь. При этом они избегают обязательств, уходят от ответственности, уплывают, ускользают, уносятся и исчезают.

Оба поэта долго ещё стояли неподвижно и молча, как белые мраморные статуи в Люксембургском саду, смотрели в глаза друг другу, и энергетика удовлетворения, исцеляла их израненные души.

2.

Четверо студентов-воришек в грязных куртках и дражных камзолах, с бочкой вина и окороком, наконец, добрались до места и пролезли в дыру. Дальше – длинные

галереи, выдолбленные в камне, а в конце пещера. В широкой нише в трещинах жёлтого известняка закреплены три факела. Посередине костёр. Большая куча раскалённых углей рдела и дышала палящим жаром. Но это тепло быстро исчезало в тёмных каменных закоулках. На старых, должно быть, уже пустых бочках сидели двое. Они играли в карты, один из них ещё успевал что-то царапать пером на листках пергамента. Третий помешивал угли в костре. Те, что играли, болтали одновременно. Почему их квартал в Париже так называется? Неужели из-за этого корявого латинского языка? Или совсем не из-за него? Кто знает современных поэтов, у кого можно было бы выудить что-нибудь о произведениях древних. Может, есть про это какие-нибудь анекдоты или короткие баллады... Не читать же древние тексты в самом деле!

Я из последних сил плёлся след в след за студентами-воришками. Видимо, заканчивался заряд «машины времени». Очутившись в каменном жилище и услышав болтовню его обитателей, я подумал: «Боже, мой! Мир не меняется. Через четыреста лет ученики всё так же ищут лёгкие пути получения знаний, не утруждая себя чтением авторов на языке оригинала».

Увидев добытчиков, игроки в карты обрадовалась и засуетилась, готовя импровизированный стол для пиршества. Через минуту все принялись за еду, весело, но обстоятельно обсуждая, где ещё можно легко украсть хорошее питьё.

– Зачем нож с собой? – прерывая всеобщий гомон, вдруг спросил самый старший, показывая на ножны, висевшие на старом кожаном поясе Ги Табари, и, демонстрируя свои незаурядные знания цветного жаргона, продолжил: – Смотри, в следующий раз попадёшься на цветняк*, запилят как шишей**. Хорошо, если отделае-

* Стража.

** Арестуют за вооружённый грабёж.

тесь кичманом»*, а то и до глаголи** недалеко. Вон в Монпелье и Монфоконе... сколько их болтаются аж на двух этажах!

Я сразу узнал голос Франсуа Монкорбье и решил ждать. «Конечно, жаль, что он не один... Зато послушаю его приятелей... Интересно!»

– Ну, ты прямо Макробий!*** – оторвавшись от игры, произнёс тот, что сидел справа от Франсуа, тощий, в серой холщовой робе, с коротко обрезанными волосами. – Кончай болтать по фене****. А то ещё накликаешь беду. Кстати, кормильцы, лучше скажите, – незнакомец повернулся к Роберу, – видели кого на Гревской?

– Тоже мне, кстати! – пробубнил Вале Робер, – совсем некстати. Ну, бабу варили, а что? Ну, эту... – Вале взглянул на Тома Кристо, ища у него подсказки.

– Маргариту Гримм... за сбыт трёх фальшивых талеров, – быстро вставил Тома.

Робер махнул рукой и продолжил:

– Ну вот! Потом это... офицеру цветняка отрубили кисть. Помнишь? Это тот, что на нас полез ещё года два назад...

– За первую кражу – ухо, второе ухо – за вторую, верёвка или костёр – за третью. Со всеми будет так, кто не поймёт: злоумышлять на ближнего негоже... – пропел Франсуа, ставя точку в нехорошей теме.

«Наверняка из какой-нибудь баллады, – подумал я и тут же вспомнил: да, это „Баллада – добрый совет“. Там ещё будет: „И что уняться вам пора бы всё же, не то позор падёт на весь ваш род. Злоумышлять на ближнего негоже...“»

– А всё-таки, есть справедливость! – торжественно произнёс Тома Кристо, – конечно, мы же студенты, и нас не трожь! Ему говорят, а он всё за своё. Ишь ты! Теперь

* Тюрма.

** Виселица.

*** Римский оратор (V век н. э.).

**** Говорить на воровском жаргоне.

если со службы не уволят, будет с крюком вместо руки на коне ездить.

– Не должны, – со знанием дела добавил сынок судейского чиновника. – Туда не всякий пойдёт. Так что останется, и ещё повстречаемся. – Подождав немного, Вале поднял указательный палец вверх и многозначительно продолжил, – ты смотри, а мы всегда правы! Вот он влез не в своё дело – и получил. – Робер вдруг вспомнил драку Франсуа с Сермуазом из-за Катрин де Воссель и с вечной своей иронией к стихам продолжил. – Поэт-то наш великий, ведь убил этого... И поделом, первым полез! И бабе этой, как её? Тоже поделом. Ишь чего надумала: нанимать драчунов и убийц!

– Что ты никого не помнишь! – подметил Ги, – наверное, заучился.

Робер продолжал, ничуть не обидевшись на самое жуткое для него оскорбление. Уж он-то знал, что-что, а в постыдном усердии его никогда не уличали.

– А как всё было жутко. Петля светила – не иначе! Опять удача! Ишь ты, дочка герцога проехала мимо. И на тебе! Амнистия! Так можно жить! Я иногда даже думаю...

– Ну, ты даёшь! Только иногда думаешь, – опять ввернул Ги Табари.

– Чего ты?! – обиделся Робер. – Я просто думаю, что над нами есть что-то, какая-то большая правда... Она посильнее короля и Всевышнего будет.

– Я не вмешиваюсь, – вдруг заговорил тот, что сидел на корточках слева и продолжал помешивать раскалённые угли. Он был похож на монаха с чёрным капюшоном на голове, – это не моё дело. Но я бы остерёгся...

– Не богохульствуй! Думает он! – Франсуа перебил «монаха», как будто не слышал его вовсе и, повернувшись лицом к Роберу, продолжил. – Папаша твой! Вот и вся правда! Болтались бы до сих пор... Там подолгу не снимают. Уж все глаза бы выклевали... Эти... Ну, как их? – Франсуа, усмехнувшись, подмигнул всем и в отместку за иронию Робера о великом поэте спародировал его забывчивость.

Беседа затихла. Франсуа и тощий в серой робе продолжали играть в карты. При этом мэтр, который только что нравоучительно говорил про нож, цветняк и высшую справедливость, медленно попивал ворованое вино из огромной кружки. Остальные с любопытством наблюдали за играющими. Никто даже не удивился, что их давнишний приятель Франсуа Монкорбье, только что приговорённый к изгнанию из Парижа на десять лет, сидит по-прежнему вместе с ними, ест, пьёт и ни на что не жалуется. А Ги Табари, ещё год назад измученный до полусмерти епископом Тибо д'Оссины, жив и весел, его приплюснутый нос и слюнявый рот говорили о благодушном настроении...

Но вот тощий сдал карты, и я почувствовал, что игроки ворвались... Было видно, как от нетерпения заёрзал на бочке Франсуа. А в его серых, быстрых и смешливых глазах вновь забегали озорные огоньки. Будто и не было совсем всего того, что произошло с ним в последние месяцы.

— У меня скоро день рождения, а я тут с вами, — медленно прошептал сдавший карты, делая вид, что игра ему уже порядком наскучила. Как он ни старался, на эти слова никто не обратил внимания. Каждый был занят своим делом. Франсуа незаметно косился в сторону того, что сидел у костра на корточках: не подсматривает ли? Рагье отрезал от окорока кусок за куском, макал в вино и, закидывая голову вверх, с благоговением направлял себе в рот. Вале, ещё у входа в пещеру услышав разговор картёжников про Латинский квартал, теперь, как настоящий образованный школяр, вдруг принялся рассуждать о духовности студенческого квартала в Париже. Слова у него, как всегда, не клеились, и получалось шепелявое бормотание, сквозь которое можно было более или менее явственно услышать что-то про готов, про Марию Магдалину, про церкви и даже про Абеляра. Видимо, имя учёного и одного из первых педагогов Парижского университета, известного своими любовными отношениями с ученицей, было услышано.

– А почему у нас здесь нет женщин? – громко спросил Ги Табари.

– А ты знаешь, – многозначительно ответил Рагье, подвинувшись ближе к факелу и любуясь сверкающими капельками вина на сочном куске мяса, это, пожалуй, получше будет!

Засмеялись сразу все. Через мгновение Ги опять вернулся к извечной теме:

– Что «ха-ха»? После таких слов не хочется даже...

– Вот тебе раз! – Робер прервал свои бормотания про Латинский квартал и тут же влез в диспут с Ги Табари. – Ты же у нас умный. Почти как Франсуа... Ты не можешь не стремиться к этому... К счастью... А счастье есть, пока я могу есть! – Робер сам удивился своему красноречию и продолжил. – Счастья больше, если я могу много съесть... А женщины, – он не закончил, а лишь с усмешкою пожал плечами.

– Всё понимаю, – видя, что его никто не поддерживает, оправдывался Ги, – но...

Я видел каждое движение этих студентов-прогульщиков, малейшие изменения в их лицах. Видел и слышал каждое слово самого старшего из них, Франсуа. Да что там, хоть и сумрачно было в пещере, но я видел карты, будто они их раскрыли передо мной как по команде. «Не в дурака, – подумал я, – что-то другое! Ах да, покер! Он как раз тогда и появился в Париже. 52 карты, четыре джокера, они годятся к любой комбинации и наверняка краплёные в Монпино близ того замка в Мен-сюр-Луар, где пытали Ги Табари».

Тощего игрока звали Жюно. Так было написано на его дощечке. Тоже из известных отпрысков. Сын преподавателя университета. Весьма глуп. Франсуа писал о нём, мол, такого ничто уже не исправит. Хоть давай ему читать, хоть не давай, хоть сам читай ему лекции – один чёрт! Видимо, отец и сын как закрытые пробкой сообщающиеся сосуды. В одном колене всё – в другом ничего!

Моя рука привычно тянется к разбросанным на камнях листкам пергамента, но ничего не находит. В это время Жюно взял пять карт, сложил их в пачечку, потом наклонясь куда-то в сторону и что-то шепча под нос, стал «подсасывать»: медленно раздвигать карты, видя только появляющийся верхний правый угол. Появилась восьмёрка пик. «Хм! Не так чтобы очень, – сообразил я. Снова восьмёрка. Теперь бубен. Пара на полной колоде при сдаче на двоих – это уже сильно! В салоне у Аполлонии такое не случалось». Жюно перевёл дыхание и небрежно окинул взглядом куски грязного, пахнувшего свежими помоями мяса и, как бы, не обращая внимания на свои карты, заговорил:

– Народ, да вы растяпы, как я посмотрю. Небось, вляпались в дерьмо... Учитесь ходить по камешкам, как дамы в длинных юбках с правого берега, – закончив свои нравоучения, он не выдержал и вновь устремил взор на свою чуть раскрытую пачечку из пяти карт. Третья карта оказалась какой-то швалью типа четвёрки. «Ну и чёрт с ней!» – будто обожгла, быстро проскочила мысль. Пальцы картёжника от волнения не слушались, он подвинул верхние три карты ещё совсем немного... Показался красненький знак «черви» и только половинки двух округлостей... «Всё, я выиграл! – громко прозвучало в голове у игрока, – три восьмёрки! Я даже не буду смотреть последнюю карту».

Я тоже не стал бы этого делать, – слишком тяжело. Дыхания не хватает... Когда это так играли? Ну да, с Флобером! Как раз тогда он, делая вид, что игра ему наскучила, всем рассказывал, как утром катается на велосипеде и выкрикивает этой ночью написанный текст. Для чего кричит? Чтобы проверить, как слова нежно и плавно льются, без повторов и ненужных пауз.

В это время Франсуа просто взял и отложил две карты, три сбросил, а из колоды прикупил три новых. Это не осталось незамеченным. «Значит, у него пара. Ха! А у меня уже тройка!» – размечтался Жюно. Мэтр тоже сло-

жил карты в стопочку и медленно её раздвинул. Его лицо было непривычно каменным, будто памятник. Глаза – тоже. Тощий не выдержал и посмотрел пятую карту. – Бог милостивый! Джокер! Каре! – Как можно спокойнее, он сбросил лишнюю четвёрку и с подчёркнутой лёгкостью в движениях взял верхнюю карту из общей пачки. Он её даже не прятал, просто тут же поднёс к глазам... Почти вплотную. Казалось, все нервы планеты свились в его теле. Такой заряд смог бы разнести стены Шатле и Лувра в придачу. Да что там, и новому собору на Ситэ не поздоровилось бы. Восьмёрка крестей! Послушайте, такого не бывает!

Франсуа, увидев, что тощий меняет одну карту, решил, что у того коллер* и он «сосёт» недостающую для одной масти. А что другое? Что ещё может случиться? Правда, могло быть две пары, и захотелось одну из них превратить в тройку. Или стрит... Это когда карты идут подряд. Редкая заварушка! Но всё же...

Теперь снова везунчик Франсуа! Он получил два валета, тройку, даму и короля. Сбросил три последних и взял два валета и джокера... Дальше лучше не рассказывать. Для Жюно это несчастье, это горе, беда! Это ужас всей жизни... Для Франсуа – обычное состояние души: везение в карты, везение в жизни... Но только не в любви!

Я закрыл лицо руками и постарался больше не смотреть на разворачивающуюся трагедию, так и не сообразив, на что же, собственно, играли картёжники.

3.

– А этот что здесь делает? – спросил я сам себя. – В углу, чуть прислонившись к каменной неровной стене, на чём-то невидимом сидел франт с бантом на груди. По его лицу читалось, что ему нравится вот так восседать и удивлять всех своим видом. – Однако, – подумал я, – за всё время его никто ещё не заметил. Никто, кроме меня...

* Пять карт одной масти.

– Раскройте глаза! – заговорил невидимка очень знакомым голосом. – Не вы один сюда попали из-за любви к Монкорбье, – франт медленно встал, сделал два шага, опираясь на элегантную трость с блестящим набалдашником: видимо, он тоже размышлял, как воспринимать необычного для этих мест мужчину в костюме идиота. Я же, в свою очередь, стал медленно соображать. «Значит, кто-то всё-таки меня видит или хотя бы слышит». Это радовало и настораживало одновременно. Через мгновение франт с бантом исчез, будто его и не было вовсе. Ему во след в тёмной галерее кто-то промелькнул. Юркнул в темноту, как мотылёк мимо яркого факела, и всё...

Видение прервал резкий окрик. Это Франсуа заметил, как Тома Кристо засовывает между камней копчёные колбаски. – Когда-нибудь тебя отторгнет наше гордое словесие. Мы, вечные студенты, ворует не для того чтобы богатеть, а только для того, чтобы жить.

– Ты что же, неуч, ставишь под сомнение наш профессионализм? – Вале в упор смотрел на своего напарника и, не выдержав такого оскорбления души умелого воришки, выкрикнул как последний аргумент: – Да я завтра же новый окорок стащу у этого мясника... А надо – так и два! Ишь, ты! А я-то всю дорогу думал, на кой чёрт он этих колбасок насобирав, целое пузо себе сотворил...

– Эй, приятель! – вдруг направившись в мою сторону, заговорил Монкорбье. – Что занесло тебя в нашу скромную обитель? Не могу освободиться от предчувствия, что ты всё принаравливаешься стянуть у нас что-нибудь вкусенькое: то ли мясо, то ли вино. Молчишь?

Опустив голову, я неуклюже переминался с ноги на ногу, боясь открыться перед приятелями Франсуа.

– Такое впечатление, – продолжал Франсуа, – будто ты из тех дурней, что вечно толпятся у Сен-Бенуа-ле-Бетурне. Нарядили и пинками затолкали сюда к нам. Вот ты и стоишь сейчас в углу как неприканный...

Монкорбье тихонько спросил Табари, показывая на меня: «Смотри, Ги, кто там спрятался?» А тот, пожав пле-

чами, только криво улыбнулся и ничего не ответил. Скорее всего, Франсуа подумал, что он не видит, или ему теперь на всё наплевать после дыбы и ямы в замке епископа Оссињи в Мен-сюр-Луар.

– Ну, во-первых, здравствуй, дорогой Франсуа, – произнёс я, постукивая тростью по каменному полу и поглядывая по сторонам, по-прежнему, выискивая глазами франта, – я здесь уже давно тебя жду. Но смотрю: ты с друзьями. Подумал, это надолго...

– Чёрт! Я не узнал тебя, дружище! Ты снова с этим идиотским бантом!

Я быстро взглянул на свою грудь: «Точно. Бант! Ну что ты скажешь! Опять эти превращения! То вижу исписанные листы пергамента, хочу их поднять с каменного пола и не могу, то не вижу своих рук...»

– Я никогда не спрашивал твоего имени. Мы как-то обходились все эти годы...

– И то верно. В твоих завещаниях его нет, в судебных протоколах тоже. А раз там нет, то нет и в жизни... Для нас всегда было важно другое. Правда, Франсуа? Что-то сегодня не складывается у нас. Толком и не поговорить. Мешают...

Светлое пятно снова мелькнуло в темноте, и я устремился туда...

Монкорбье проводил своего почитателя взглядом и лишь улыбнулся в ответ. Рядом с ним никого не было. Все приятели исчезли. Костёр потух, и только на камнях по-прежнему валялись исписанные листки пергамента с жирными отпечатками пальцев...

4.

Я сидел в кресле и, не отрывая глаз от слабо тлеющего огня, долго ворошил кочергой угли в камине. Хорошо! Ни единой мысли! Потом мелькнула какая-то, зашевелилась, с трудом создавая очертание идеи, но безуспешно. Я подложил пару поленьев. Их жадно поглотили языки пламени. Дрова приятно потрескивали. Тон-

кой щепкой, от которой потянулась чёрная струйка дыма, зажег бронзовую настольную лампу, и горящее масло буквых орешков наполнило комнату своим терпким запахом. Он придавал чудесный аромат белому облаку, висящему над нагретой чашкой моего свежего «чая».

Прошло несколько мгновений, и, надышавшись целебным ароматом, я вновь «покинул» свою комнатку на улице Кота-Рыболова и очутился рядом с Франсуа.

– Хорошо, что тебя не было, – явно что-то затевая, прошептал Монкорбье. В его тусклых измученных глазах вновь сверкали огоньки. Совсем как тогда, во время игры в карты.

– А меня не было?

– Ты ушёл куда-то. Встал и побрёл, ничего не говоря. А этот страшила не подошел бы ко мне, если бы я был не один. Гийом Биш здесь был и совсем недавно ушёл.

– Кто такой? Я уже где-то слышал это имя...

Вместо ответа Франсуа лишь пожал плечами. Он начал издалека.

– Ты, наверное, думаешь про меня: «Чего это он сидит тут после изгнания. Да ещё ест, пьёт, играет в карты. Будто ничего не произошло, будто жизнь, в третий раз, оставив его в живых, так ничему и не научила...»

– Тебе виднее, Франсуа, тебе виднее... Ты ж у нас великий.

– Во-первых, у меня ещё есть два дня. А во-вторых... Короче. Вчера здесь был наш Людовик...

– Кто? Король что ли? Сам? Один? Зачем? Как это, вчера?

– Ну, не один, конечно. С ним припёрся этот поганец Биш. Был и говорил со мной. Вот так! – Франсуа показал рукой, как рядом с ним стоял сам король.

Я молчал, с нетерпением ожидая подробностей. Выждав паузу, Монкорбье продолжил.

– Сначала появился Биш. Будто ждал, когда ты уйдёшь. – И Франсуа начал обстоятельно перечислять события прошедшей ночи, сдабривая их смачными замеча-

ниями. – Вчера король тайно покинул свою резиденцию и в сопровождении своего скверного сводника стал обходить злачные места в самых сомнительных кварталах города. Судя по всему, у короля, действительно, было немало любовниц на один день. Имена их всем известны. Но ни одна, как ты понимаешь, не стала официальной любовницей. Видимо, Людовик, немало претерпев в своё время от присутствия Агнессы Сорель при его отце, слишком опасался женщин и их влияния на политику. Но чтобы его дамой на одну ночь оказалась Катрин де Воссель!

– Та самая Катрин, о которой ты мне рассказывал!?

– Ну да. Она и есть.

– Ты что же, ещё любишь её?

– Боже упаси! Между волокитой Франсуа и поэтом Монкорбье, отрицающим любовь, – расстояние в несколько лет, несколько женщин и несколько разочарований.

– Она тебя бросила или ты её?

– Никто никого не бросал! Просто я любил, и с самого начала был обманут...

– Но ты любил! Это главное. Я знаю только такую любовь. Много лет я вообще боготворил просто образ. Сам себе его придумал и полюбил. Осознание того, что он может быть в реальности, мне было достаточным. Точно также было у рыцаря по имени Дон Кихот.

– Не знаю такого.

– Хм.

– Кто это?

– Да так, испанец... Знаешь, как только любовь становится обоюдной, я ухожу. И не потому, что вот, мол, я какой повеса и гуляка. Ты не поверишь: просто боюсь. Боюсь, что когда-нибудь именно любовь возьмёт и покинет меня, как когда-то в детстве это сделала моя мать.

Слова про мать Франсуа пропустил мимо ушей, а услышав про испанца, что-то вспомнил и с сожалением произнёс.

– Надо же! В Испании не был ни разу. Хотя моя улица Сен-Жак – начало древней римской дороги именно туда... – Помолчав немного, он продолжил, не реагируя на любовные сентенции своего обожателя. – Я, конечно, был несносным, вмешивался в то, что меня не касалось. В итоге, знаешь, стыдно сказать, меня вытолкали за дверь и даже поколотили. Я видел Катрин совсем другою. Какою же она была на самом деле, когда не притворялась, что слушает меня, этого я не знал. Если б я знал...

Когда Франсуа принимался рассуждать о женщинах отвлечённо, в его словах всегда появлялась жёлчь. Он красочно описывал весёлых девиц из многочисленных парижских притонов, их облегающие платья или груди, обнажённые до сосков, чтобы привлечь клиентов, сюрко* непристойно ярких цветов и такие узкие котты**, что они могли бы с тем же успехом ходить вовсе без этих коттов. Впрочем, многие так и поступали, обнажаясь, где только можно и нельзя. По поводу ухищрений профессионалок Франсуа ехидно отмечал, что женская красота – явление временное. Пока могут, пусть ловят момент! С одной стороны, мэтр Монкорбье, конечно, был прав, с ним даже не хотелось спорить. Ведь не он придумал, что время летит, и не он открыл, что весна, как бы пышно она ни цвела, рано или поздно сменится летним зноем, а после наступит холодная, дождливая осень...

Я ещё долго мог рассуждать сам с собой по поводу женщин Монкорбье, но вдруг вспомнил слова Франсуа про короля и вновь спросил с нетерпением.

– А потом-то что было?

– Потом была Марта. – Видимо, тема затронула Франсуа за живое, и он уже не мог остановиться, рассказывая о своих похождениях. – Она сослужила мне добрую службу: представила и рекомендовала Карлу Орлеанскому, принцу всех влюбленных. Пятью годами позже я

* Верхняя одежда свободного покроя.

** Верхняя одежда с узкими рукавами и с небольшим вырезом, носилась под сюрко.

вернулся в Париж. И что ты думаешь? Катрин и раньше видела во мне лишь бродягу, а теперь, продрогшего и изрядно потрепанного после менской тюрьмы*, тем более. Я узнал, что она дарит богатому Итье Маршану то, в чём отказывала бедному школяру. А Маршан, между прочим, свой человек при дворе младшего брата нового короля Людовика XI.

– Остаётся лишь использовать по назначению всю эту катавасию. Брата короля, герцога Орлеанского и эту, неблагодарную судьбе...

– Именно так и произошло, друг мой. И брат Людовика, и Катрин рассказали королю обо мне. Наверняка каждый по-своему. Ещё раньше это проделал Карл Орлеанский и Жан де Бурбон...

– Ну, не тяни!

– Тяни не тяни – итог всё равно один!

– Тебя пригласили ко двору?

– Никогда ни у кого не был на службе! Ни у знати, ни у бандитов! Может, именно поэтому вижу мир не изнутри, а снаружи... Лучше послушай, что я узнал от короля. Вернее, не от него лично, а всё от этого Биша. Король вообще появился здесь в пещере поздно ночью минуты на две, подошёл, посмотрел на меня брезгливо, что-то сказал своему человеку, кивнув головой, молвил что-то гадкое про Алена Шартье, вообще про всех поэтов, про свою первую жену и исчез.

5.

– Вчера поздно вечером, – по всему было видно, что Франсуа собрался долго рассказывать о событиях прошлой ночи, – когда ты так внезапно ушёл, в самом углу пещеры, рядом с факелом появился старей, низкого роста, отвратительный человечек с длинным носом и в коротком плаще с капюшоном. Он тихо подошёл и что-то прошептал мне

* В 1460 году Ф. Вийон оказался в тюрьме городка Мен-сюр-Луар, состоявшего под юрисдикцией сурового епископа Орлеанского Тибо д'Оссины.

на ухо. От неожиданности я сначала испугался, а потом прислушался, но смог понять только часть сказанного:

«Вы должны следовать за ним неотступно, – продолжал шептать старик, – каждый шаг, каждый поступок нам важен. Эти люди богаты, владеют многими языками и наречиями. Они авантюрны и могут совершить что угодно... Теперь о вас, мой друг. Мы, конечно, вас простим. Но не до бесконечности же этим заниматься! Всему есть предел. Я скажу по секрету: вы плохо кончите... Если конечно... В общем, Бурбоны – вот наша главная цель! Я откровенен... Давно наблюдаю, как вы здесь себя ведёте. Слышал болтовню с приятелями, потом с каким-то придурком с бантом на груди».

Франсуа понял, что этот старичок всё время, пока они ели, пили, болтали, играли в карты, сидел на корточках у костра, молчал и не поворачивался в их сторону. Теперь Биш говорил с ним вкрадчивым тихим голосом, иногда спохватываясь, вдруг выпрямлялся насколько возможно при его росте и громко произносил: «Убивать нельзя! Воровать – тоже нехорошо! Вы согласны со мной?» Не ожидая ответа, он продолжал: «Я повторяю, любезный, всё уйдёт в небытие. Вы прославитесь... Вас и сейчас многие знают. Особенно среди студентов... В общем, мне докладывали... Но потом, через десятки лет, все узнают о выдающемся герое Франции, послужившем её объединению. Ну, и о поэте тоже... Однако нам надо помочь. Вам это не будет так уж сложно. Вы даже в чём-то схожи...»

Франсуа замолчал, будто обдумывал, с кем это он так схож? Через минуту-другую продолжил.

– Ты знаешь, что он мне сказал?

– Ну что ты спрашиваешь!

«Ведь вы же писатель! Поэт! Вам ли не быть в ладу с властью! Обласкан... и так далее. Вы и так для нас человек приятный, удобный, вас есть, за что... прихва... уважать».

– Во как! Меня в шпионы! Что скажешь?

Не получив ответа, Франсуа продолжил, но уже не так заинтересованно.

– Биш долго рассказывал мне о перипетиях в отношениях членов семейств Орлеанских и Бурбонов. Нескольким раз называл имя Марии Орлеанской, напомнил о моих хвалебных стихах про неё. Потом заговорил о Карле, её отце, о братьях Бурбонэ... А я не могу понять, что ему нужно от меня. Видимо что-то нужно, раз сам король приходил сюда в пещеру, но пока Биш опасается и не говорит об этом открыто и прямо. Что он имеет в виду? Чёрт его знает! В общем, какой-то чокнутый! – выпалил Франсуа, заканчивая рассказ, – мне ни разу за всю его затянувшуюся речь так и не удалось вставить ни одного слова.

– Но король-то был... – я шёпотом произнёс эти слова, и в них послышалось не то вопрос, не то сомнение, не то боязнь спугнуть что-то очень важное. Сразу вспомнился разговор студентов в таверне... Я посмотрел на Франсуа. Его глаза с самого начала сегодняшней встречи то загорались решительностью, то застилались поволокой сомнения. Он будто хотел переложить ответственность и спрашивал меня: «Как быть? Ведь снова придут – будет не отвертеться!» Потом, не дожидаясь ответа, вдруг обнял и как-то мягко по-детски положил голову мне на грудь, будто прощался, быстро и озорно взглянул на меня, улыбнулся...

– Король, к сожалению, был... – произнёс он задумчиво и исчез.

Больше мы не встречались.

Я снова в своей комнате на самой узкой улочке Латинского квартала. Та же мебель, пропыленная и нескладная, грязный пол, печальные окна с пыльными стёклами, по которым протянулись полосы от дождевых струй, и зеркало. Оно по-прежнему покрыто пылью. Контуры лица видятся в нём смазанными, цветовые переходы размыты... А в глазах моего отражения сквозь сумрачную дымку блещет огонь...

Что-то мерно стучит по стеклу. Я встал и обернулся. Слева за окном росла жидкая акация. Одна её ветвь с молодой листвой вытянулась далеко вверх. Касаясь стекла, она дрожала на лёгком утреннем ветру и своим шёпотом будто звала куда-то...

* * *

Пройдёт немного времени, и Париж опять затянет в круговорот будней, забудутся чистые слова, пожелания и обещания, – но частица праздничного света всё равно останется в сердце, как знак того, над чем не властно время... Мой взгляд остановился на старухе, которая шла навстречу. Сгорбленная, бедно одетая, издали она казалась совсем уродливой. Мы поравнялись, и я увидел, что её беззубое лицо светится счастьем.

– Ещё одно Богоявление! – сказала она, ни к кому не обращаясь, и улыбнулась небу.

Эпизод

Бодлер продолжал вращаться в кругу своих проблем. Правда, этот омут уже не был таким жутким, как прежде. Через три года опубликовали его новый сборник «Парижский сплин», ещё через год – второе издание «Цветов зла». Так же как когда-то Франсуа Вийон, он вскоре покинул Париж и любимый Латинский квартал. Там они сверкнули, как настоящие художники, но именно там сгорели их истерзанные души.

После незабываемых встреч двух поэтов что-то сдвинулось в психике Бодлера. Счастливые мгновенья детства смогли пробиться сквозь твёрдую скорлупу психических комплексов, разрушить её и принести желанный и исцеляющий воздух счастья и любви. Потребность возбуждать удивление света своими причудами исчезла. Одновременно с этим возродилась страстная любовь к матери, желание хоть сколько-нибудь загладить то горе, которое он причинил ей в жизни...

Но Время, Время! Оно бежало быстрее, чем хотелось. Его почти не оставалось. Оставалась лишь его дьявольская свора: Воспоминания, Сожаления, Страхи и Томления.

* * *

Изгнанный из Парижа, Франсуа Вийон удалился в герцогство Бурбонне, откуда происходили его предки.

Туда его влекли, по меньшей мере, три обстоятельства. Первое: с 1456-го года герцогом де Бурбон стал любитель стихов Вийона Жан II. Второе: этот Жан, вообще-то, приходился старшим братом тому самому Пьеру де Боже, которого король хотел женить на своей дочке Анне. И ещё. Жан II зовётся Добрым. Вдруг не зря...

Карл Орлеанский скончался в 1465-м, через два года после того, как Франсуа Монкорбье покинул Париж. Во главе траурной процессии шёл жених маленькой Марии Орлеанской – знаменитый сеньор де Боже Пьер Бурбон. Уже через год кто-то сильно постарался, и 27-летний Пьер де Боже был помолвлен с пятилетней Анной Французской, дочерью короля Франции Людовика XI. Её младшая сестра Жанна была выдана за Людовика, самого младшего из потомства Карла Орлеанского.

Дела герцога Карла Смелого Бургундского с каждым годом шли всё хуже и хуже. Он потерпел несколько поражений от швейцарцев и вскоре в 1477-м был убит. Через пять лет его трёхлетняя внучка была обручена с сыном Людовика XI, будущим королем Франции Карлом VIII. Обширные владения последнего герцога Бургундского: Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Лотарингия, Эльзас были поделены между Францией и Габсбургами, что привело к их противостоянию, длившемуся следующие несколько столетий, и определившему расклад сил в Европе вплоть до середины XVIII века.

Так за год до смерти Людовик XI достиг главной цели своей политики. Он сумел собрать в одну страну почти все крупные феодальные владения.

А в 1490 году, когда дофином Франции был сын Людовика XI, а правили регенты Анна Французская и Пьер де Боже из семейства Бурбонов, изобрели типографский способ печатания книг. Первой книгой стали стихи Франсуа Монкорбье – Франсуа Вийона.

Приложения

Стихи Шарля Бодлера*

ЦВЕТЫ ЗЛА ПРЕДИСЛОВИЕ

Безумье, скарედность, и алчность, и разврат
И душу нам гнетут, и тело разъедают;
Нас угрызения, как пытка, услаждают,
Как насекомые, и жалят и язвят.

Упорен в нас порок, раскаянье – притворно;
За все сторицею себе воздать спеша,
Опять путем греха, смеясь, скользит душа,
Слезами трусости омыв свой путь позорный.

И Демон Трисмегист**, баюкая мечту,
На мягком ложе зла наш разум усыпляет;
Он волю, золото души, испепеляет,
И, как столбы паров, бросает в пустоту;

Сам Дьявол нас влечёт сетями преступленья
И, смело шествуя среди зловонной тьмы,
Мы к Аду близимся, но даже в бездне мы
Без дрожи ужаса хватаем наслажденья;

* Публикуются по изданию: *Бодлер Ш. Цветы зла* / Сост. Г.К. Косиков. М., 1993.

** Одно из имен (др.-греч. – трижды величайший) древнегреческого бога Гермеса, покровителя магии.

Как грудь, поблекшую от грязных ласк, грызёт
 В вертепе нищенском иной гуляка праздный,
 Мы новых сладостей и новой тайны грязной
 Ища, сжимаем плоть, как перезрелый плод;

У нас в мозгу кишит рой демонов безумный,
 Как бесконечный клуб змеящихся червей;
 Вдохнёт ли воздух грудь – уж Смерть клокочет в ней,
 Вливаясь в лёгкие струей незримо-шумной.

До сей поры кинжал, огонь и горький яд
 Ещё не вывели багрового узора;
 Как по канве, по дням бессилья и позора,
 Наш дух растлением до сей поры объят!

Средь чудищ лающих, рыкающих, свистящих,
 Средь обезьян, пантер, голодных псов и змей,
 Средь хищных коршунов, в зверинце всех страстей,
 Одно ужасней всех: в нём жестов нет грозящих,

Нет криков яростных, но странно слиты в нём
 Все иступления, безумства, искушенья;
 Оно весь мир отдаст; смеясь, на разрушение,
 Оно поглотит мир одним своим зевком!

То – Скука! – Облаком своей houka* одета,
 Она, тоскуя, ждёт, чтоб эшафот возник.
 Скажи, читатель-лжец, мой брат и мой двойник,
 Ты знал чудовище утонченное это?!

Перевод Эллиса

* Модный в парижских литературных кругах середины XIX в. курительный прибор, разновидность кальяна, где дым пропускается через воду.

ПЛАВАНИЕ

1

Для отрока, в ночи, глядящего эстампы,
За каждым валом – даль, за каждой далью – вал,
Как этот мир велик в лучах рабочей лампы!
Ах, в памяти очах – как бесконечно мал!

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль – и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.

Что нас толкает в путь? Тех – ненависть к отчизне,
Тех – скука очага, ещё иных, – в тени
Цирцеиных ресниц оставивших полжизни, –
Надежда отстоять оставшиеся дни.

В Цирцеиных садах, дабы не стать скотами,
Плывут, плывут, плывут в оцепененьи чувств,
Пока ожоги льдов и солнц отвесных пламя
Не вытравят следов волшебницыных уст.

Но истые пловцы – те, что плывут без цели:
Плывущие – чтоб плыть! Глотатели широт,
Что каждую зарю справляют новоселье
И даже в смертный час ещё твердят: «Вперёд!»

На облако взгляни: вот облик их желаний!
Как отроку – любовь, как рекруту – картечь,
Так край желанен им, которому названья
Доселе не нашла ещё людская речь.

2

О, ужас! Мы шарам катящимся подобны,
Крутящимся волчкам! И в снах ночной поры
Нас Лихорадка бьёт – как тот Архангел злобный,
Невидимым мечом стегающий миры.

О, странная игра с подвижною мишенью!
Не будучи нигде, цель может быть – везде!
Игра, где человек охотится за тенью,
За призраком ладьи на призрачной воде...

Душа наша – корабль, идущий в Эльдорадо.
В блаженную страну ведёт – какой пролив?
Вдруг, среди гор и бездн и гидр морского ада –
Крик вахтенного: – Рай! Любовь! Блаженство! – Риф.

Малейший островок, завиденный дозорным,
Нам чудится землёй с плодами янтаря,
Лазоревой водой и с изумрудным дёрном.
Базальтовый утёс являет нам зарю.

О, жалкий сумасброд, всегда кричащий: берег!
Скормить его зыбям, иль в цепи заковать, –
Безвинного лгуна, выдумщика Америк,
От вымысла чьего ещё серее гладь.

Так старый пешеход, ночующий в канаве,
Вперяется в Мечту всей силою зрачка.
Достаточно ему, чтоб Рай увидеть въяве,
Мигающей свечи на вышке чердака.

3

Чудесные пловцы! Что за повествованья
 Встают из ваших глаз – бездоннее морей!
 Явите нам, раскрыв ларцы воспоминаний,
 Сокровища, каких не видывал Нерей.

Умчите нас вперёд – без паруса и пара!
 Явите нам (на льне натянутых холстин
 Так некогда рука очам являла чару)
 Видения свои, обрамленные в синь.

Что видели вы, что?

4

– Созвездия. И зыби,
 И жёлтые пески, нас жгущие поднесь,
 Но, несмотря на бурь удары, рифов глыбы, –
 Ах, нечего скрывать! – скучали мы, как здесь.

Лиловые моря в венце вечерней славы,
 Морские города в тиаре из лучей
 Рождали в нас тоску, надёжнее отравы,
 Как воин опочить на поле славы – сей.

Стройнейшие мосты, славнейшие строенья,
 Увы, хотя бы раз сравнили с градом – тем,
 Что из небесных туч возводит Случай-Гений...
 И тупились глаза, узревшие Эдем.

От сладостей земных – Мечта ещё жесточе!
 Мечта, извечный дуб, питаемый землёй!
 Чем выше ты растёшь, тем ты страстнее хочешь
 Достигнуть до небес с их солнцем и луной.

Докуда дорастёшь, о древо – кипариса
Живучее?..

Для вас мы привезли с морей
Вот этот фас дворца, вот этот профиль мыса, –
Всем вам, которым вещь чем дальше – тем милей!

Приветствовали мы кумиров с хоботами,
С порфировых столпов взирающих на мир,
Резьбы такой – дворцы, такого взлёту – камень,
Что от одной мечты – банкротом бы – банкир...

Надёжнее вина пьянящие наряды,
Жён, выкрашенных в хну – до ноготка ноги,
И бронзовых мужей в зелёных кольцах гада...

5

– И что, и что – ещё?

6

– О, детские мозги!..

Но чтобы не забыть итога наших странствий:
От пальмовой лозы до ледяного мха,
Везде – везде – везде – на всём земном пространстве
Мы видели всё ту ж комедию греха:

Её, рабу одра, с ребячливостью самки
Встающую пятой на мыслящие лбы,
Его, раба рабы: что в хижине, что в замке
Наследственном – всегда – везде – раба рабы!

Мучителя в цветах и мученика в ранах,
Обжорство на крови и пляску на костях,
Безропотностью толп разнузданных тиранов, –
Владык, несущих страх, рабов, метущих прах.

С десятков или два – единственных религий,
 Всё сплошь ведущих в рай – и сплошь вводящих в грех!
 Подвижничество, так носящее вериги,
 Как сибаритство – шёлк, и сладострастье – мех.

Болтливый род людской, двухдневными делами
 Кичащийся. Борец, осилённый в борьбе,
 Бросающий Творцу сквозь преисподни пламя:
 – Мой равный! Мой Господь! Проклятие тебе!

И несколько умов, любовников Безумья,
 Решивших сократить докучный жизни день
 И в опия морей нырнувших без раздумья, –
 Вот Матери-Земли извечный бюллетень!

7

Бесплодна и горька наука дальних странствий:
 Сегодня, как вчера, до гробовой доски –
 Всё наше же лицо встречает нас в пространстве:
 Оазис ужаса в песчаности тоски.

Бежать? Пребыть? Беги! Приковывает бремя –
 Сиди. Один, как крот, сидит, другой бежит,
 Чтоб только обмануть лихого старца – Время.
 Есть племя бегунов. Оно – как Вечный Жид.

И как апостолы, по всем морям и сушам
 Проносится. Убить зовущееся днём –
 Ни парус им не скор, ни пар. Иные души
 И в четырёх стенах справляются с врагом.

В тот миг, когда злодей настигнет нас – вся вера
Вернётся нам, и вновь воскликнем мы: – Вперёд!
Как на заре веков мы отплывали в Перу,
Авророю лица приветствуя восход.

Чернильною водой – морями глаже лака –
Мы весело пойдём между подземных скал.
О, эти голоса, так вкрадчиво из мрака
Взывающие: – К нам! О, каждый, кто взалкал

Лотосова плода! Сюда! В любую пору
Здесь собирают плод и отжимают сок.
Сюда, где круглый год – день лотосова сбора,
Где лотосову снуовек не минет срок.

О, вкрадчивая речь! Нездешней лести нектар!
К нам руки тянет друг – чрез чёрный водоём.
– Чтоб сердце освежить – плыви к своей Электре!
Нам некая поёт – нас жегшая огнём.

8

Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О, Смерть, скорее в путь!
Пусть небо и вода – куда черней чернила,
Знай, тысячами солнц сияет наша грудь!

Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем всё, что есть,
На дно твоё нырнуть – Ад или Рай – едино!
В неведомого глубь – чтоб новое обрести!

Перевод М. Цветаевой

Стихи Франсуа Вийона

БАЛЛАДА – ДОБРЫЙ СОВЕТ

Глупцы, чей мозг пороком притуплен,
Кто, будучи невинен от рожденья,
Презрел с годами совесть и закон,
Кто стал рабом слепого заблужденья,
Кто следует дорогой преступления,
Усугубить страшитесь грозный счёт
Тех, кто уже взошёл на эшафот,
Затем что жил сумняшеся ничтоже.
Со всеми будет так, кто не поймёт:
Злоумышлять на ближнего негоже.

Пусть каждый помнит: сам виновен он
В любом своём житейском огорченье.
Да, мир – тюрьма, но это не резон
Утрачивать смиренное терпенье,
До времени бежать из заключенья,
Обкрадывать, глумясь, честной народ,
Жечь, грабить и пускать оружие в ход.
Когда наступит час расплаты позже,
Бог пеням лиходея не вонмёт:
Злоумышлять на ближнего негоже.

Что толку лезть всечасно на рожон,
 Врать, плутовать, канючить без стеснения,
 Дрожать и, даже погружаясь в сон,
 Бояться, что не будет пробуждения,
 И каждого держать на подозренье?
 Итак, скажу: настал и ваш черёд
 Уразуметь, что нас геенна ждёт
 И что уняться вам пора бы всё же,
 Не то позор падёт на весь ваш род.
 Злоумышлять на ближнего негоже.

В посланье Павла к римлянам прочтёт
 И стар, и млад, что он всех нас зовёт
 Любить друг друга по завету Божью,
 Лишь добрые дела на свете множа.
 Особо ж в толк пусть человек возьмёт:
 Никто другого в грех да не введёт –
 Злоумышлять на ближнего негоже.

Перевод Ю. Корнеева*

БАЛЛАДА О ПОВЕШЕННЫХ

Потомки наши, братия людская,
 Не дай вам Бог нас чужаками счесть:
 Господь скорее впусти в кущи рая
 Того, в ком жалость к нам, беднякам, есть.
 Нас пять повешенных, а может, шесть.
 А плоть, немало знавшая услад,
 Давно обожрана и стала смрад.
 Костями стали – станем прах и гнилость.
 Кто усмехнётся, будет сам не рад.
 Молите Бога, чтоб нам всё простилось.

* Здесь и далее стихотворения в переводе Ю.Б. Корнеева публикуются по изданию: *Вийон Фр.* Сочинения / Пер. Ю.Б. Корнеева. СПб., 1996.

Вас просят братья – жалоба простая
Пусть вас проймёт, хоть судьи нашу честь
У нас украли. Мы взываем, зная:
Людей с холодной кровью в свете несть.
Простите нас, нам жизни не обрести.
Того, кто был Мариною зачат,
Молите, чтобы горемычных чад
От ада упасла Его всемильность.
Мы мёртвые, и души в нас молчат.
Молите Бога, чтоб нам всё простилось.

Нас раздувала влага дождевая,
Мы ржавели под солнцем, словно жечь,
Нам бороды рвала воронья стая
И силилась глазницы нам проесть.
Нельзя вовеки нам ни встать, ни сесть –
Качаемся круженью ветра в лад.
Точь-в-точь напёрсток, остов наш щербат
Сорочье племя всласть повеселилось.
Не будьте глухи, брата молит брат.
Молите Бога, чтоб нам всё простилось.

Исус, водитель человеческих стад,
Ты нас храни, чтоб не попали в ад –
Нам дела с ним иметь не приходилось.
О люди, сбросьте суеты наряд,
Молите Бога, чтоб нам всё простилось!

Перевод Ю. Корнеева

БАЛЛАДА ПОЭТИЧЕСКОГО СОСТЯЗАНИЯ В БЛУА

У родника от жажды я стенаю;
Хочу сказать: «Прощай!» – кричу: «Привет!»
Чужбина для меня – страна родная.
Надеюсь там я, где надежды нет;
Хулу нежданно шлю хвале вослед;
Лишь тем одушевляюсь, что мертво;
Смеюсь сквозь слёзы бог весть отчего.
Студь жжёт меня, жара бросает в дрожь.
Нагой, как червь, я славлю щегольство,
Отвсюду изгнан и повсюду вхож.

В бесспорное я веры не питаю;
За явь охотно принимаю бред;
Случайность неизбежностью считаю;
Где разрешение есть, блюду запрет.
Что всем знакомо – для меня секрет.
Хотя мое бесчисленно родство,
Наследства я не жду ни от кого;
С любым играю, не любя картёж;
С крыльца сойдя, боюсь упасть с него,
Отвсюду изгнан и повсюду вхож.

Транжира я, хоть скупостью страдаю;
Мню тех друзьями, кто чинит мне вред;
Спасаюсь бегством, если побеждаю;
Скорблю о поражениях в дни побед.
Ворона в белый, лебедь в чёрный цвет
Окрашены для глаза моего.
Кто груб со мной, тот мне милей всего.
Не различаю правду я и ложь,
С учтивостью мешаю озорство,
Отвсюду изгнан и повсюду вхож.

Не скрою, милосердный принц, того,
 Что, зная всё, не знаю ничего,
 Живу с людьми и на отшибе всё ж,
 Пекусь о многом, алчу одного,
 Отвсюду изгнан и повсюду вхож.

Перевод Ю. Корнеева

ЛЭ, ИЛИ МАЛОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

I

Я, Франсуа Вийон, школяр,
 В сем пятьдесят шестом году,
 Поостудив сердечный жар,
 И наложив на мысль узду,
 И зная, что к концу иду,
 Нашёл, что время приглядеться
 К себе и своему труду,
 Как учит римлянин Вегеций.

II

Под Рождество, глухой порой
 Жестокой ледяной зимы,
 Когда слышать лишь волчий вой
 И в дом к теплу вернуться мы
 Спешим до наступленья тьмы,
 Избавиться замыслил я
 От кандалов любви, тюрьмы,
 Где страждет днесь душа моя.

III

Я не забыл, из-за кого
 Пришлось мне столько слёз пролить,
 Что нужно милой для того.
 Чтобы мои терзанья длить,
 А потому могу молить
 Богов, к влюблённым благосклонных,
 Меня, отметив ей, исцелить
 От мук, мне ею причинённых.

IV

Улыбкою и блеском глаз
Она меня в обман ввела,
Хоть, как я понял лишь сейчас,
Из равнодушья иль со зла
Не жаждала и не могла
Помочь мне в горестях моих,
И должен был бы я тепла
Искать в объятиях иных.

V

Меня коварный взгляд её
Пленил надежней, чем оковы,
На пытку существо мое
Всечасно обрекая снова,
Но, видя, сколь со мной сурова
Та, без кого мне свет немил,
Я бегством от врага такого
Спасть в отчаянье решил.

VI

Себя сводить в могилу сам
Отнюдь не будучи охоч,
В Анжер уйду я, хоть и там
Мне свой недуг избыть невмочь:
Ну, как и чем тому помочь,
Кто телом здоров, но мёртв душой?
Я – мученик любви, точь-в-точь
Романов рыцарских герой.

VII

Но как разлука ни тяжка,
Мне всё-таки она в охотку,
Понеже нового дружка
Приветила моя красотка.
Выходит так: я ел селёдку,
А захотелось пить – шалишь,
Вино вольют другому в глотку.
О Господи, мой стон услышь!

VIII

Коль скоро суждено навек
 Уйти мне в дальние края,
 А я всего лишь человек,
 Не из железа плоть моя,
 И бесконечно жизнь ничья
 Не может длиться на земле,
 Кому и что оставляю я, –
 Изложено мной в этом лэ.

IX

Во-первых, пусть моею славой
 Во имя Троицы Святой
 Распоряжается по праву
 Гийом Вийон, приёмный мой
 Отец, который был со мной
 Добр, нежен и заботлив так,
 Что он мне ближе, чем родной.
 Ему же – мой шатер и стяг.

X

Оставляю сердце я засим
 Той, кем так злобно прогнан был,
 В ком к уверениям своим
 Сочувствия не пробудил,
 Из-за кого и сам уныл,
 И горестно мое житьё,
 И дни влачить нет больше сил.
 Благой Творец, прости ее!

XI

Засим пусть мой двуручный меч
 Итье Маршан иль Жан Корню
 Возьмёт и носит бесперечь,
 Вложив – на мой манер – в мотню.
 Его я в восемь су ценю,
 Но был он мною сдан в залог,
 И выкупит его, я мню,
 Владелец новый в должный срок.

XII

Засим получит Сент-Аман
 В дар от меня «Коня» и «Мула»,
 Благодарю же мною будет дан
 Мой бриллиант, а также булла,
 Что право чернецам вернула
 Грехи мирянам отпустить,
 Чем лодырей кюре вспугнула:
 Ну, кто ж охоч доход терять?

XIII

Робер Вале, рассудком слабый
 Парламентский писец-шалбер,
 Мои штаны получит, дабы
 Он выкупил их в «Трюмильер»
 И отдал Жанне де Мильер,
 Своей подружке: даме этой,
 Кого глупей он не в пример,
 Быть лучше по-мужски одетой.

XIV

Но, сын родителей почтенных,
 Робер не заслужил, ей-ей,
 Судьбы болванов откровенных –
 Посмешищем быть для людей.
 Так вот, ему, чтоб дурень сей,
 Несущий чушь бог весть какую,
 Стал шкафа все ж чуть-чуть умней,
 «Искусство памяти» дарю я.

XV

Засим, чтоб чем-то пропитанье
 Себе снискать мог сей бедняк,
 Родне даю я приказанье
 Продать доспех мой и шишак,
 На деньги ж, добытые так,
 Пускай наш бумагомарака
 На Пасху купит не пустяк –
 Окошко около Сен-Жака.

XVI

Засим пусть друг мой Жак Кардон
 Себе возьмёт мои наряды.
 Сверх коих да получит он
 На корм по высшему разряду
 Вино бадьями, мёд, говяда,
 Угрей, сыры большого веса
 И – слишком всё ж толстеть не надо! –
 Два разорительных процесса.

XVII

Засим хочу трёх псов дебелих
 Ренье де Монтиньи я дать,
 А Жан Рагье сто франков целых
 В подарок мог бы ожидать,
 Когда бы знал я, где их взять.
 Нельзя ж у собственных родных
 В наследстве долю отнимать,
 Чтоб ублажить друзей своих.

XVIII

Засим пускай синьор Гриньи
 Владеет башнею Нижон.
 Шесть псов – не то что Монтиньи! –
 Вдобавок к ней получит он,
 А тяжущийся с ним Мутон
 Да попадет в Бисетр к нему
 И, выпоротый, заточён
 Надолго будет им в тюрьму.

XIX

Пусть водопой Попен возьмёт
 Метр Жак Рагье, а сверх того
 С «Сосновой шишкой» перейдёт
 В распоряжение его
 Преизобилие всего,
 Чем любит каждый выпивоха
 Своё потешить естество,
 Зане пить без закуски плохо.

XX

Засим хочу, чтоб не забыл
 Про вас, Мотен и Базанье,
 Вельможа, что назначен был
 Делами ведать о жулье;
 А чтоб мой прокурор Фурнье
 Не унывал, мороз почуя,
 Пусть щеголяет в том рванье,
 Которое ему вручу я.

XXI

Засим пусть прасол Жан Труве
 Себе присвоит невозбранно
 «Быка с венком на голове»,
 «Корову» и «Руно барана»;
 Того ж, кто у него, буяна,
 Сей скот попробует угнать,
 Повесить должно, как смутьяна,
 Чтоб не дерзал чужое брать.

XXII

Начальник стражи городской
 «Шишак» получит, потому
 Что он рискует головой,
 Когда ведёт дозор во тьму;
 А тем, кто подчинён ему,
 Я дам «Фонарь» на Пьер-о-Лэ:
 Себе ж «Три лилии» возьму,
 Коль повлекут меня в Шатле.

XXIII

Засим Перне Маршан, кого
 Зовут Ублюдком де ла Барра,
 Для пропитанья своего
 Получит тюк соломы старой,
 Дабы на нём давал он жару
 Той, кем за деньги приглашён
 Попрыгать будет с ней на пару, —
 Других ремёсл не знает он.

XXIV

Засим пусть Лу и с ним Шоле
Во рву изловят городском
По утке в предрассветной мгле
И стражу обведут потом,
Добычу спрятав под плащом,
Который им в придачу дам
Я к связке дров, мешку с углем,
А также к рваным башмакам.

XXV

Засим, день ото дня сильней
Трех маленьких сирот жалея,
Желаю я душою всей
Помочь бедняжкам поскорее.
«Где харч им взять? – спросить я смею.
Чем тело в холода прикрыть?
Они, коль я их не пригрею,
Не смогут зиму пережить».

XXVI

Нет, Госсуэн, Марсо, Лоран,
У вас ни денег, ни родных,
Но я готов четвёртый блан
С доходов вам платить своих,
Чтоб, глядя на сирот бывших,
Которым возрасти помог,
Себе я в старости за них
Воздать хвалу по праву мог.

XXVII

Засим я степень, что была
Сорбонной мне присуждена,
Отдам, чтоб от нужды спасла
Двух нищих школяров она.
В сей акт включить их имена
Велела жалость мне, затем
Что у бедняг пуста мошна
И нечего надеть совсем.

Зовут двух этих горемык
Гийом Котен, Тибо Витри.
Латынь для них родной язык,
Они смиренны и от при
Ускальзывают, как угри.
Распоряжусь я, чтоб вовек
С них в доме у Гийо Гельдри
Не брали денег за ночлег.

XXIX

Им также – «Посох» (проще, «Ключка»)
На улице Сент-Антуана,
Сверх этого подарка – кружка,
Чтобы из Сены пить допьяна;
А голубкам из тех, что рано
В тюрьме повадились гнездиться,
Советую я неустанно
С женой тюремщика дружиться.

XXX

Засим тот скарб, что мной нажит,
Больницам отпишу я разом,
Для тех, кто в стужу там дрожит,
Всклокоченный, с подбитым глазом,
Теряющий от горя разум,
Заросший грязной волосней,
К тычкам, насмешкам и отказам
Приученный с пелен нуждой.

XXXI

Пусть заберёт бородобрей
Растительность, что удалил
С лица и головы моей;
Портной – тряпье, что мне пошил;
Сапожник – рвань, что я носил,
Пока не прохудится кожа:
Я им, зане хватает сил,
Воздать за труд обязан все же.

XXXII

Нищенствующим орденам,
 А также девкам в дом работный
 Я столько вкусной пищи дам,
 Чтоб черноризец кушал плотно,
 И проповедовал охотно
 О Страшном Божием суде,
 И мог на шлюхах беззаботно
 Учиться верховой езде.

XXXIII

Клюку святого Мавра пусть
 Жан де ла Гард получит в долю.
 Он ею – в том я поручусь –
 Тереть горчицу сможет вволю,
 Но всё-таки, зане всех боле
 Мне козни строить был охоч,
 Пусть подагрические боли
 Испытывает день и ночь.

XXXIV

Засим Мербфу и Лувье –
 Монеты в скорлупе яичной;
 Смотритель же пруда Гувье,
 Пьер де Русвиль наш горемычный,
 Получит также дар отличный –
 Ему я отказать готов
 Те деньги, коими обычно
 Бросается Принц дураков.

XXXV

Вот так, свое диктуя лэ,
 Услышал вдруг я, утомленный,
 Как пробил девять раз во мгле
 Тяжелый колокол Сорбонны.
 Столичный люд неутомонный
 К вечерней он молитве звал,
 И я душою сокрушенной
 Его напоминаю вял.

XXXVI

И всё ж, хоть трезв я был вполне,
 Забастовал мой мозг усталый
 И не дал помолиться мне:
 То Дама Память отозвала
 И в ларь забвения убрала
 И здравый смысл, и разуменье,
 И виды разные сужденья –
 Они ведь все её вассалы.

XXXVII

Как и способность к подражанию
 Или события наперёд
 Предвидящее проицанье,
 Их помрачение ведёт
 Порой на день, неделю, год
 К расстройству умственному нас.
 Об этом, помню, речь идёт
 У Аристотеля не раз.

XXXVIII

Зато фантазия, а с ней
 И органы мои воспряли,
 Хоть тот из них, что всех важней,
 Стал не бодрей, но даже вялей
 Из-за смятенья и печали,
 Мне ранее столь непривычных,
 Сего довольно, чтоб признали
 Мы общность наших чувств различных.

XXXIX

Когда ж, опомнившись с трудом,
 Я успокоился чуть-чуть,
 Мои чернила стали льдом
 Успел сквозняк свечу задуть,
 И зря пытался как-нибудь
 Я начатое дописать –
 С устатку мне пришлось уснуть,
 В одежде рухнув на кровать.

Составлено рукой Вийона
 Сие в тот год, что назван им.
 Прославленный, но измождённый
 Питаньем скудным и дрянным,
 Всё роздал он друзьям своим
 И тощий, чёрный, как голик,
 Ждёт ныне с кошельком пустым,
 Когда придёт последний миг.

Перевод Ю. Корнеева

БАЛЛАДА О ЗАВИСТЛИВЫХ ЯЗЫКАХ

Смертельной смеси ртути с мышьяком,
 В селитре, в кислоте неразведённой,
 В свинце, кипящем в чугунае большом,
 В дурманящем настое белладонны,
 В кровях жиловки, к блудодействию склонной,
 В отжимках из застиранных штанов,
 В соскрёбках с грязных ног и башмаков,
 В поганой слизи ядовитых тварей,
 В моче лисиц, волков и барсуков
 Пусть языки завистливые сварят.
 В мозгах кота, что ест — и то с трудом,
 По старости давно зубов лишённый,
 В слюне, что бешеным излита псом,
 Иль в пене с морды клычи запалённой,
 Иль в жиже из болотины зловонной,
 Где не сочтёшь пиявок, комаров,
 Лягушек, жаб и водяных клопов,
 Где крысы пьют, где бедный скот мытарят
 Пронзительные жала оводов,
 Пусть языки завистливые сварят.
 В гнилой крови, циркулярным ножом
 В прилив при полнолуние отворённой,
 Что высыхает в миске под окном
 И кажется то черной, то зелёной,
 В ошметках плоти, катом изъязвлённой,
 В вонючих выделениях гнойников

В остатках содержимого тазов,
 Где площади, подмываясь, девки шпарят,
 Как знает завсегдатай бардаков,
 Пусть языки завистливые сварят.
 Принц, для столь важной цели из портков
 Пяток-другой пахучих катышков
 Добыть не поскупится даже скаред,
 Но прежде в кале хрюшек и хряков
 Пусть языки завистливые сварят.

Перевод Ю. Корнеева

БАЛЛАДА О ПАРИЖАНКАХ

Идёт молва на всех углах
 О языках венецианок,
 Искусных и болтливых свах,
 О говорливости миланок,
 О красноречии пизанок
 И бойких Рима дочерей...
 Но что вся слава итальянок!
 Язык Парижа всех острей.
 Не умолкает и в церквах
 Трескучий говорок испанок,
 Есть неуёмные в речах
 Среди венгерок и гречанок,
 Пруссачек, немок и норманнок,
 Но далеко им, ей-же-ей,
 До наших маленьких служанок!
 Язык Парижа всех острей.
 Бретонки повергают в страх,
 Гасконки хуже тулузанок,
 И не найти во всех краях
 Косноязычней англичанок,
 Что ж говорить мне про датчанок, –
 Всех не вместишь в балладе сей –
 Про египтянок и турчанок?
 Язык Парижа всех острей.
 Принц, первый приз – для парижанок:
 Они речистостью своей

Заткнут за пояс чужестранок!
Язык Парижа всех острей.

Перевод Ф. Мендельсона*

БАЛЛАДА О ТОЛСТУХЕ МАРГО

Слуга и «кот» толстухи я, но, право,
Меня глупцом за это грех считать:
Столь многим телеса её по нраву,
Что вряд ли есть другая, ей под стать.
Пришли гуляки – мчусь вина достать,
Сыр, фрукты подаю, все, что хотите,
И жду, пока лишатся гости прыти,
А после молвлю тем, кто пощедрей:
«Довольны девкой? Так не обходите
Притон, который мы содержим с ней»,
Но не всегда дела у нас на славу:
Коль кто, не заплатив, сбежит, как тать,
Я видеть не могу свою раззяву,
С неё срываю платье – и топтать.
В ответ же слышу ругань в бога мать
Да визг: «Антихрист! Ты никак в подпитье?» –
И тут пишу, прибегнув к мордобитью,
Марго расписку под носом скорей
В том, что не дам на ветер ей пустить я
Притон, который мы содержим с ней.
Но стихла ссора – и пошли забавы.
Меня так начинают щекотать,
И теребить, и тискать для растравы,
Что мертвецу – и то пришлось бы встать.
Потом пора себе и отдых дать,
А утром повторяются события.
Марго верхом творит обряд соитья
И мчит таким галопом, что, ей-ей,
Грозит со мною вместе раздавить и
Притон, который мы содержим с ней.
В зной и мороз есть у меня укрытье,
И в нём могу – с блудницей блудник – жить я.

* Публикуется по изданию: *Вийон Фр.* Полное собрание поэтических сочинений. М., 1998.

Любовниц новых мне не находите:
 Лиса всегда для лиса всех милей.
 Отрепье лишь в отрепье и рядите –
 Нам с милой в честь бесчестье... Посетите
 Притон, который мы содержим с ней.

Перевод Ю. Корнеева

БАЛЛАДА ПРОЩЕНИЯ

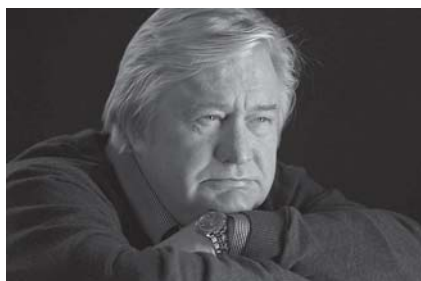
У солдата в медной каске,
 У монаха и у вора,
 У бродячего танцора,
 Что от Троицы до Пасхи
 Всем показывает пляски,
 У лихого горлодера,
 Что рассказывает сказки,
 У любой бесстыжей маски
 Шутовского маскарада –
 Я у всех прошу пощады.

У девиц, что без опаски,
 Без отяжки, без зазора
 Под мостом иль у забора
 Потупляют сразу глазки,
 Раздают проходим ласки,
 У любого живодёра,
 Что свежует по указке, –
 Я у всех прошу пощады.

Но доносчиков не надо.
 Не у них прошу пощады.
 Их проучат очень скоро –
 Без другого разговора
 Для показки, для остратки,
 Топором, чтоб знали гады,
 Чтобы люди были рады,
 Топором и без огласки.
 Я у всех прошу пощады.

Перевод И. Эренбурга*

* См. сноску на с. 102.



Об авторе

КОРНЕВ Борис Федорович, родился и учился в Ленинграде, свыше двадцати лет занимался реализацией кризисных проектов в различных городах России

и Европы. Член международной Ассоциации управленческого консультирования.

Автор научных работ в области управления в условиях неопределённости, научно-популярных, художественных и художественно-публицистических изданий. Наиболее известные читателю: «Немедленно ждать: Кризисный проект – управление отношениями и меняющимися ожиданиями» (2009), повести «Дальтоник: Не всякие глаза видят врага» (2010), «Реальная четвёрка» (2011) и «Одна на всех...» (2013), роман «Тандем» (2012), сборник рассказов «Бухта Провидения» (2013), а также очерки и рассказы в сборнике «Игра в «Тетрис» (2011), в альманахах «Невский публицист» и «Северные цветы» (2012–2013).

Член Союза писателей России. Лауреат литературных премий Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России: имени Н.С. Тихонова – за повесть «Реальная четвёрка» (2013), «Наследники Победы» – к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне – за повести «Дальтоник: Не всякие глаза видят врага» и «Одна на всех...». Книги Бориса Корнева переведены на английский, французский, испанский и немецкий языки.

E-mail: 9030904@gmail.com